

А. ЗАКАРИН

ХРОНИКИ ЭРБОРИАНА



Книга первая · Разорванное кольцо

Алекс Закарин

Разорванное кольцо

<https://litres.ru/74672784>

SelfPub; 2026

Аннотация

Рыбак-оруженосец с острова. Орк, чей родовой огонь выпил демон. Рунный кузнец-гном. Эльфийка, услышавшая в лесу чужую песню. Полурослик, отправившийся искать пропавшего дядю. Пятеро чужаков из пяти народов, которые не любят друг друга, — и у каждого в ладони тлеет искра древнего Пламени, старше самих богов.

Их пути сходятся в Тихом Броде, где под камнем с пятью стрелками гудит истончившаяся Завеса мира. Люди со знаком разорванного кольца будят драконов и жгут кладбища, обещая спасение от мёртвых, что веками стоят у северной стены и зовут живых по именам.

Чтобы остановить их, пятерым придётся дойти до ледяного трона Мёрзлого короля. А ладонь Дейна с каждым днём всё серее

Содержание

Пролог. Голодная зима	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСКРЫ	13
Глава 1. Чаячий Мыс	13
Глава 2. Холодный огонь	30
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОГРАНИЧЬЕ	47
Глава 3. Тихий Брод	47
Глава 4. Байка полурослика	62
Глава 5. Из Книги Чертога	72
Глава 6. Песнь Сильванора	76
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Алекс Закарин

Разорванное кольцо

А. Закарин

Хроники Эрбориана. Книга первая: Разорванное кольцо

* * *

«Всё сущее — это Хаос, приведённый в порядок; каждая магия мира либо держит этот порядок, либо отпускает его обратно».

Пролог. Голодная зима

Сто лет назад. Крайний север Эрбориана.

В третью зиму без лета король Ингвар приказал открыть последний амбар.

В амбаре было четыреста мешков зерна. В городе — одиннадцать тысяч человек. Ингвар знал этот счёт наизусть: он пересчитывал его каждую ночь, лёжа без сна в холодной опочивальне, как скупец пересчитывает монеты. Четыреста мешков. Одиннадцать тысяч ртов. Восемь дней, если делить честно. Двенадцать — если не кормить стариков.

Он велел делить честно.

Город назывался тогда Хельм — по старому слову северян, означавшему «очаг». Он взбирался по склону одинокой горы в долине между двумя ледниками — от нижних улиц у подножия до королевского чертога на вершине, — и испокон веку его грели источники. Горячая вода была из-под камней прямо посреди улиц, над ней круглый год стоял пар, а в купальнях у королевского чертога можно было лежать в самую лютую стужу, глядя, как снег тает, не долетая до воды. Северяне гордились своими источниками. Говорили, что их согревает сердце горы, — и спорили только о том, доброе ли это сердце.

Третью зиму источники остывали.

Никто не понимал почему. Монахи Ордена Зари, прие-

хавшие с юга с первыми караванами, молились над ними и говорили о каре за грехи. Старухи говорили о злом колдовстве. Мудрецы молчали. А вода с каждой неделей становилась холоднее, пар над улицами — тоньше, и однажды утром большая купальня у чертога покрылась льдом.

А потом пришёл голод.

* * *

На девятый день после того, как кончилось зерно из последнего амбара, Ингвар надел старую медвежью шубу отца, взял копьё и ушёл из города. Один. Никому ничего не сказав.

Он шёл на север, в вечные льды за ледниками, куда северяне не ходили даже за пушниной. Шёл два дня. Ночевал в снежной яме, вырытой руками. На третий день вышел к месту, которое знали только по сказкам: к Безмолвному полю. Белая равнина без конца и края, без единого следа, без единого звука. Даже ветер здесь не свистел — дул беззвучно, как дуют во сне.

Ингвар встал посреди поля и воткнул копьё в снег.

— Я пришёл просить, — сказал он громко.

Голос его ушёл в белое и не вернулся. Ни эха. Ни отзвука.

— Я король северян. Мой народ умирает. Я молился Заре — Заря не ответила. Я молился предкам — предки не ответили. Говорят, здесь, подо льдом, спит тот, кто был раньше Зари. Тот, кто отвечает всегда. — Он сглотнул; горло саднило от мороза. — Если ты слышишь — ответь. Я отдам всё, что у меня есть. Только спаси их.

Тишина.

Он стоял долго. Солнце — тусклое, низкое, бессильное — прошло по краю неба и стало клониться к закату. Ноги Ингвара онемели. Пальцы на древке копья перестали чувствовать холод — а это, как знает каждый северянин, плохой знак.

И тогда тишина изменилась.

Он не услышал голоса. Голоса не было. Но тишина вокруг стала другой — глубже, плотнее, тяжелее — как вода, когда ныряешь всё ниже. Она легла ему на плечи. Вошла в уши. Заполнила грудь вместо воздуха. И в этой тишине — нет, *этой тишиной* — с ним заговорили.

Слов не было. Было понимание. Оно приходило целиком, сразу, как понимаешь во сне, что ты уже давно знаешь то, чего никогда не знал.

Голод — это огонь, понял Ингвар. Голод горит в живом, как пламя в очаге. Жжёт. Требует. Не даёт покоя. Всё живое горит, король. Всё живое голодно — всегда.

Но то, что остыло, не голодает.

Ингвар закрыл глаза.

— Нет, — прошептал он. — Не так. Я не прошу их смерти. Я прошу их жизни.

Ты просишь, чтобы они не голодали. Чтобы не плакали дети. Чтобы матери не смотрели, как дети гаснут. Чтобы никто больше не умирал в муках. Я могу дать это. Всё, что ты просил. Ничего, чего не просил.

Их не будет мучить холод — они станут холодом. Их не будет мучить голод — им больше не нужен хлеб. Они не умрут в муках — они уснут и проснутся. Никто не уйдёт от тебя. Никто никогда не уйдёт.

Ингвар стоял посреди Безмолвного поля, и по его лицу текли слёзы. Они замерзали, не успев поползти до бороды.

Он думал о детях на улицах Хельма. О старой кормилице, которая отдавала свою долю внукам и третий день не вставала с лавки. О дочери кузнеца, которая вчера спросила его, может ли король приказать зиме кончиться. О пустом амбаре. О четырёхстах мешках, которых больше нет.

И о Сигрид. Ей было семь. У неё были косички, светлые, как лён, и каждую весну, как только старая липа у северных ворот выпускала лист, она забиралась на самую верхнюю ветку, куда не лазили даже мальчишки, и кричала оттуда: «Папа, папа, смотри, я выше всех!» В эту весну липа не зацвела. И Сигрид на неё не полезла. Она сидела у очага в его старом плаще, и косички у неё стали тонкие, как мышинные хвостики. Позавчера она спросила, правда ли, что липа умерла. Он сказал: нет, она спит. Он был король, и он сказал.

О том, что весны не будет. Не в этом году.

— Что ты хочешь взамен? — спросил он.

Ничего. Только то, что ты будешь говорить за меня там, где я не могу говорить сам. Я сплю, король. Я спал всегда. Мне нужен тот, кто будет держать мой покой, пока я сплю.

— Наместник.

Если тебе нужно слово — пусть будет это.

Ингвар молчал.

Потом выдернул копьё из снега и положил его к своим ногам. Снял рукавицу — правую — и протянул голую руку в пустоту, ладонью вниз, как протягивают руку для клятвы.

— Я согласен, — сказал король северян. — Ради них.

И Безмолвие взяло его за руку.

* * *

Когда он вернулся в Хельм — через два дня, хотя ноги его больше не уставали, а мороз больше не жёг кожу, — город спал.

Люди спали на лавках, на печах, у остывших очагов, обнявшись, по двое и по трое, укрытые всеми одеялами, какие нашлись. Спали дети. Спали старики. Спала стража у ворот, привалившись к стене и не выпустив копий. Лица у всех были спокойные. Впервые за три зимы — спокойные.

Ингвар шёл по улицам и смотрел, и на его шубе не таял иней.

На рассвете город проснулся.

Люди открывали глаза и садились. Без единого звука. Смотрели перед собой. Кожа их была серой, губы — белыми, а в глазах не было больше голода. Ни голода, ни страха, ни боли. Только тихое, холодное, бесконечное спокойствие.

Дочь кузнеца встала с лавки у дверей кузни. Подошла к нему. Подняла лицо — серое, детское, спокойное.

— Зима кончилась? — спросила она. Голос был ровным, как падающий снег.

Ингвар опустилсЯ перед ней на колени. Хотел обнять — и не посмел.

— Да, — сказал он. — Для нас — кончилась.

Девочка кивнула и пошла обратно к лавке. Села. Сложила руки на коленях. И стала смотреть на дверь — так, как смотрят живые дети, когда ждут, что отец вернётся из кузни. Только живые дети ёрзают. Она сидела неподвижно.

Она могла сидеть так вечно.

Ингвар поднялся с колен. Посмотрел на чертог — на окно под самой крышей, за которым стояла маленькая кровать с резными медведями на спинке. Он знал, что там тоже проснулись. Знал, что там тоже сидят, сложив руки на коленях, и смотрят на дверь.

Он не поднялся под крышу в то утро. И в следующее. Ни разу за целый век.

Уснули не все. Несколько сотен человек — те, кто в ту ночь сидел у постели умирающих и не сомкнул глаз, — проснулись живыми и увидели, во что превратились их соседи. Ингвар не стал их удерживать. Он сказал им только: «Холод больше не тронет вас здесь. Оставайтесь». Не все ушли. Остались те, кто не смог бросить уснувших родных: они жили среди мёртвых, топили для них печи, которые мёртвым были не нужны, и служили королю, которому больше нечем было им платить, кроме покоя. Остальные взяли детей, сани,

копья и ушли на юг, через ледники, к Южным снегам, туда, где ещё светило солнце. Половина не дошла. Те, кто дошёл, сложили на краю снегов первый сторожевой костёр — и поклялись, что будут жечь его, пока на севере сидит мёртвый король. Со временем у этого костра поднимутся стены, и его назовут Бастионом Последнего Света. Ледники же, окружавшие Хельм, назовут Мёртвыми льдами.

* * *

Лишь одного Ингвар тогда не заметил. Никто не заметил. Кроме старого смотрителя купален, который ещё не уснул, потому что ему было что сторожить. Он потом рассказывал об этом, пока у него оставался язык.

В тот же рассвет, глубоко под Хельмом, под улицами и купальнями, под камнем и под старыми корнями горы, что-то зашипело. Как шипит раскалённый уголь, когда на него плеснут водой. Злобно. А потом стихло.

Горячие источники Хельма замёрзли до самого дна. Навсегда.

А липа у северных ворот так и не проснулась. Ни в ту весну, ни в одну из ста следующих. Она стояла чёрная, в инее, и на самой верхней ветке никого не было.

Сердце горы, о котором спорили северяне, — доброе оно или злое, — перестало биться. Оно не умерло. Оно просто остыло и уснуло, придавленное новым холодом, как камнем придавливают крышку колодца.

А король Ингвар, теперь Мёрзлый король, стоял на ступе-

нях своего чертога и смотрел на свой город, в котором больше никто никогда не будет голодать.

— Холодно, — сказал он.

Никто его не услышал. Его народ больше не чувствовал холода. А сам он скажет это слово ещё только однажды — сто лет спустя.

Город вскоре назовут по-новому. Хел-Мортем. На языке южан это значит «очаг мёртвых».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСКРЫ

Глава 1. Чаячий Мыс

Наши дни. Королевство Вейсхольм, остров к востоку от материка.

Дейн проснулся от того, что чайки замолчали.

На Чаячьем Мысе чайки кричали всегда. Днём — над рыбацкими лодками, ночью — на скалах под маяком, где у них были гнёзда. Дейн вырос под этот крик, как другие дети растут под скрип колыбели, и тишина разбудила его вернее колокола.

Он сел на лавке. В доме было темно. Отец храпел за перегородкой. В печи тлели угли. За окном шумело море — ровно, спокойно, как всегда.

А чайки молчали.

Дейн встал, натянул штаны и кафтан — старый, отцовский, с заплатами на локтях, — сунул ноги в сапоги и вышел на крыльцо.

Ночь была безлунной. Звёзды висели над морем густо, низко, и по воде от них тянулись бледные дорожки. Маяк на скале горел — жёлтый огонь в стеклянном фонаре. Деревня спала: три десятка домов на склоне, лодки на берегу, сети на шестах, амбары у причала.

А в бухте, между лодок, скользили тени.

Длинные, низкие, без огней. Шесть. Нет — восемь. Они шли к берегу бесшумно, на вёслах. Не рыбаки и не купцы — это Дейн, выросший у моря, знал твёрдо. Рыбаки возвращаются с песнями. Купцы — с фонарями. А так, без огней и без звука, в чужую бухту входят только за одним.

Первая лодка ткнулась в гальку. Из неё на берег выпрыгнули фигуры — широкие, огромные, с топорами. В отблеске маяка мелькнула серо-зелёная кожа, клыки, бритые головы.

Орки.

Дейн бросился в дом.

— Отец! Отец, вставай! Орки на берегу!

* * *

Потом, много лет спустя, когда о нём уже пели песни, Дейн не любил вспоминать ту ночь. Не потому что было страшно — хотя было, до тошноты, до дрожи в коленях. А потому что в песнях всё было не так.

В песнях он хватал меч и бросался на врагов. А на самом деле никакого меча у него не было. Была ясеневая колотушка, которой отец глушил крупную рыбу в лодке, — тяжёлая, с железным кольцом на конце. Дейн схватил её, потому что больше ничего под руку не попало. И бросился не на врагов, а к дому Ровены, капитана стражи, — потому что у Ровены был колокол.

Он бежал по улице, а за его спиной уже горел первый амбар.

Орки не шли по домам — странное дело. Они не ломали двери, не вытаскивали людей. Они шли к амбарам у причала — к рыбным складам, к зерну, привезённому с большой земли на зиму. Несли факелы. Поджигали. И брали — мешки, бочки с солёной рыбой, связки вяленой трески, — волокли к лодкам.

Они пришли не убивать. Они пришли за едой.

Колокол у дома Ровены уже звонил. Сама капитан стояла на крыльце в одной рубаше, с мечом в руке и с лицом, от которого любой здравомыслящий орк должен был бы развернуться и плыть обратно. Ровена была высокой, сухой, с короткими рыжими волосами и шрамом через подбородок — подарком пиратов с юга. Ей было тридцать четыре года. Пятнадцать из них она командовала стражей Чаячьего Мыса — дюжиной рыбаков с копьями, — и Мыс за эти годы не сожгли ни разу.

— Дейн! — Она увидела его с колотушкой и даже не удивилась. — Сколько?

— Восемь лодок! В каждой по пять-шесть!

— Сорок. Хорошо. — Ровена сказала «хорошо» как о пустяке. Дейн знал её с детства: это значило, что всё очень плохо. — Ты со мной. Держись слева. Бей по ногам. Не геройствуй.

— Я твой оруженосец, капитан, — сказал Дейн. — Мне положено геройствовать.

— Тебе положено чистить мне сапоги и не помереть. По-

шли.

Дейн был её оруженосцем третий год. Это значило в основном то, что он чистил ей сапоги, точил меч, таскал копья на учениях и стоял ночами в дозоре на маяке. Настоящего боя он не видел ни разу.

До этой ночи.

* * *

Первого орка он ударил по колену.

Тот выскочил из-за угла горящего амбара — огромный, с мешком зерна на плече и тесаком в другой руке, — и Дейн, не успев подумать, махнул колотушкой. Железное кольцо хрустнуло о коленную чашечку. Орк взревел, выронил мешок, упал на одно колено — и Ровена, шагнув вперёд, ударила его рукоятью меча в висок. Орк рухнул.

— Живой, — сказала Ровена. — Хорошо. Дальше.

Второго Дейн не ударил — тот ударил его. Плечом, походя, как сбивают с дороги ребёнка. Дейн отлетел в сети, запутался, барахтался, пока Ровена дралась с орком над ним. Когда выпутался — орк уже лежал, а Ровена вытирала меч.

Третьего, четвёртого и пятого они взяли у причала вместе со стражей. Дейн бил по ногам, как велели. Ровена била по головам. Рыбаки с копьями держали строй. А орки — непонятно почему — дрались плохо. Неохотно. Отбивались и отступали к лодкам, бросая добычу.

А потом с одной из лодок закричали — не по-орочьи. На всеобщем языке.

— Назад! Все назад! Отходим!

Орки побежали. Кто нёс мешок — бросал. Кто был ранен — тащили на руках. Лодки отваливали от берега одна за другой и уходили в темноту так же бесшумно, как пришли.

На берегу остались три горящих амбара, перевёрнутые бочки, рассыпанное зерно, пятеро оглушённых орков и одиннадцать трупов.

Дейн смотрел на трупы, и его начинало трясти.

Не все они были орками.

* * *

— Люди, — сказала Ровена. Она стояла над телом, перевернув его ногой на спину. — Трое. Человек, ещё человек, и вот этот... — она нагнулась, — этот вообще полуэльф, похоже. Вымазаны сажей, одеты как орки. Прятались среди налётчиков.

На рассвете они разложили мёртвых на гальке у причала. Восемь орков, трое людей. Дейн помогал. Ему не хотелось, но Ровена сказала, что оруженосец, который не может смотреть на мёртвых, — это не оруженосец, а мальчик на побегушках, и он стиснул зубы.

У всех троих людей на шее висели амулеты.

Дейн снял первый и долго разглядывал. Медный, грубой работы, на кожаном шнурке. Кольцо — простое, ровное, — но разорванное надвое, как от удара топора: половинки разошлись, оставив между собой узкую щель.

— У орков таких нет, — сказал он. — Я видел орочи

обереги. Клыки, когти, костяные тотемы. А это...

— Это человеческая работа, — сказала Ровена. Она взяла амулет, повертела в пальцах. — Литъё. Городское. — Она нахмурилась. — Мне это не нравится, Дейн.

— Что это значит?

— Не знаю. Но когда люди одеваются орками и ведут их грабить, это значит, что кому-то нужно, чтобы Вейсхольм ненавидел орков ещё сильнее. — Она сжала амулет в кулаке. — Собери с остальных. Все три. Отнесу в Альдербург, пусть в Ордене посмотрят.

Дейн собрал. Три амулета. Три разорванных кольца.

Третий амулет, снятый с полуэльфа, был тёплым. Не от тела — тело давно остыло. Тёплым изнутри, как камень, полежавший на солнце. И Дейну на мгновение показалось, что в щели между половинками кольца тлеет крошечная красная искорка.

Он моргнул — и искорки не стало.

* * *

Один из пленных орков умирал.

Его ранили копьём ещё у причала — вскользь, но он потерял много крови, и к полудню стало ясно, что без лекаря до вечера он не дотянет. Остальных четверых заперли в пустом сарае для сетей. Этого положили отдельно, на солому под навесом у дома Ровены, — капитан хотела допросить его, пока он ещё может говорить.

Дейна она взяла с собой. Записывать.

Орк лежал на спине и смотрел в небо. Он был старым — Дейн не знал, что орки бывают старыми, в сказках они всегда молодые и злые. А этот был седой, с обвисшей кожей на щеках, с одним сломанным клыком. Рёбра торчали под кожей так, что их можно было пересчитать. Руки — тонкие, жилистые, все в шрамах. Не руки воина. Руки работника.

— Как тебя зовут? — спросила Ровена. На всеобщем.

Орк молчал. Потом сказал хрипло, с трудом выговаривая чужие слова:

— Гхаш.

— Откуда ты, Гхаш?

— Степь. Давно. Потом — нет степи. — Он закашлялся, на губах выступила тёмная кровь. — Изгнали. Многих изгнали. Голодно. Жили на берегу, на большой земле. Рыбу ловили. Плохо ловили. Мы не умеем рыбу.

— Зачем вы пришли на Мыс?

Орк повернул голову и посмотрел на неё. Глаза у него были маленькие, тёмные, усталые.

— Обещали, — сказал он. — Человек пришёл. Сказал: на острове много хлеба. Сказал: люди острова слабые, отдадут. Сказал: будет вам земля, свой берег, своя рыба. Только идите за мной.

— Какой человек?

— Человек. — Гхаш облизнул губы. — Глаза горят. Как угли. Красное внутри. Мы боялись его. Но он давал хлеб. Мы шли.

Дейн вспомнил тёплый амулет. Искорку в щели разорванного кольца.

Ровена выпрямилась и повернулась к Дейну.

— Запиши всё, — сказала она. — Слово в слово. Отнесу в Альдербург.

— А с ним что?

Она не ответила сразу. Дейн знал закон. Его все знали на побережье. Закон короля Эдрика гласил: разорителя, пойманного на месте, — вешать. На самом видном месте, чтобы видели с моря. Для этого маяк годился лучше всего.

— Закон знаешь, — сказала Ровена.

— Знаю, капитан.

— Повесим его на маяке. Остальных четверых отправим в Альдербург, в каменоломни. А у этого, — она кивнула на пояс орка, — кошель. Видишь? Тяжёлый. Южное серебро, держу пари. Ему за набег заплатили. Серебро пойдёт в казну Мыса — на новые амбары.

Дейн посмотрел на старого орка. Тот слышал. Не шевельнулся. Только закрыл глаза.

— Капитан, — сказал Дейн. — Он и так до вечера не доживёт.

— Значит, повесим до вечера.

— Он не воин. Посмотри на его руки. Он голодный старик, которого обманули.

Ровена посмотрела на него. Долго, внимательно. Так она смотрела на учениях, когда он делал что-то неправильно и

она решала, стоит ли объяснять или проще дать подзатыльник.

— Изгнанники тоже голодают, — сказал Дейн. — Он пришёл за хлебом. Мы бы тоже пришли, если бы наши дети голодали.

— Он жёг наши амбары.

— Человек с горящими глазами жёг наши амбары. А этот нёс мешок.

Тишина. Только чайки — они вернулись и снова кричали — кружили над бухтой.

Потом Ровена вздохнула и отвернулась.

— Твой пленник, оруженосец, — сказала она. — Ты за него просишь — тебе и решать. Только чтобы я не видела.

И ушла в дом.

Дейн постоял, глядя ей вслед. Потом пошёл к себе, принёс краюху хлеба — последнюю, отец оставил на ужин — и вяленую рыбу. Положил рядом с орком. Перерезал верёвку на его руках.

Гхаш открыл глаза. Посмотрел на хлеб. На Дейна.

— Почему? — спросил он.

— Потому что ты голодный, — сказал Дейн. — Там, за мысом, в бухте Тюленьей, стоит старая отцовская лодка. Течёт, но до большой земли дойдёт, если вычерпывать. Иди.

Орк смотрел на него. Потом с трудом сел. Взял хлеб. Не стал есть — спрятал за пазуху.

— Не умру, — сказал он вдруг. — Теперь не умру. Отнесу

хлеб внукам. — Он поднялся, держась за живот, качнулся, устоял. — Ты, мальчик. Запомни. Человек с горящими глазами — не один. Их много. И они не здесь живут. Они ходят через Пограничье. Туда, где все дороги.

Он ушёл, хромая, к скалам. Дейн смотрел, как он исчезает среди камней.

Краюха хлеба и старая лодка. Больше ничего. Такие вещи не записывают в летописи. Их запоминают другими способами.

* * *

На третью ночь после набега маяк погас.

Дейн стоял в дозоре на скале — его очередь — и смотрел, как огонь в стеклянном фонаре мигнул, вспыхнул красным, не жёлтым, и погас. А из-под скалы, оттуда, где в камне была пещера, вход в которую знали только мальчишки да контрабандисты, потянуло жаром. Как из открытой печи.

Он ударил в колокол. Три раза. Сигнал: беда на маяке.

Ровена прибежала первой. С мечом, в кольчуге, с факелом в руке. За ней — трое стражников.

— Пещера, — сказал Дейн. — Оттуда жар. И свет. Красный.

Ровена посмотрела вниз, туда, где у подножия скалы, среди камней, светилась узкая щель. Потом на Дейна.

— Тот, с горящими глазами, — сказала она. — Вернулся.

В пещеру они спускались по старой тропе, цепляясь за камни. Жар становился всё сильнее. Камень под ладонями

обжигал. Воздух дрожал. Пахло серой и горелым — так пахнет кузница, когда в горн бросают не уголь, а что-то другое, неправильное.

Пещера оказалась больше, чем помнил Дейн. Когда-то это был просто грот, куда во время прилива заходила вода. Теперь вода ушла. Стены были чёрными, оплавленными. А в дальнем конце, у самой стены, стоял человек.

Высокий. Худой. В тёмном дорожном плаще. Он стоял спиной к ним, подняв руки, и перед ним в каменной стене было... Дейн не сразу понял, что видит.

Трещина. Неровная, рваная, как молния, застывшая в камне. Шириной в ладонь — и в человеческий рост длиной. А внутри трещины — огонь. Не пламя костра, а что-то живое, текучее, кипящее, ярко-оранжевое, с белыми прожилками. Оно билось в трещине, как кровь в жиле. И от него шёл жар, от которого трещали волосы и слезились глаза.

На камне над трещиной был выжжен знак. Кольцо. Разорванное надвое.

— Именем короля! — крикнула Ровена. — Отойди от стены!

Человек обернулся.

Лица его Дейн потом не мог вспомнить — только глаза. Они горели. Не отражали огонь — горели сами, изнутри, двумя красными углями под бровями.

— Опоздали, — сказал человек. Голос был спокойным, почти весёлым. — Завеса здесь тонкая. Тоньше, чем я думал.

Пограничье будет совсем лёгким.

Он шагнул в сторону. И трещина в стене — раскрылась.

Не шире — глубже. Огонь внутри неё вздулся, поднялся, вылился из щели, как вода из прорванной плотины. И из этого огня шагнуло... нечто.

Оно было ростом с двух людей. Тело — из застывшей лавы, чёрной, растрескавшейся, и сквозь трещины проступал оранжевый жар. Голова — без лица, просто раскалённая глыба с двумя белыми провалами вместо глаз. Руки — длинные, до колен, с пальцами-когтями из чёрного стекла. Каждый его шаг оставлял на камне оплавленный след.

— Владыка разлома, — сказал человек с горящими глазами почти ласково. — Малый. Совсем малый. Но вам хватит.

И исчез. Шагнул назад, прямо в трещину, в живой огонь, — и огонь сомкнулся за ним.

Владыка разлома повернул безликую голову к ним.

* * *

Бой длился недолго: один бесконечный миг жара, крика и слепящего оранжевого света.

Двое стражников погибли сразу. Тварь просто махнула рукой — и их отбросило к стене, и они больше не встали. Третий бросил копье и побежал. Дейн его не винил.

Ровена дралась. Её меч бил по лавовой коже, высекая искры и осколки чёрного камня. Тварь ревела, как ревёт горный обвал. А Дейн, со своей дурацкой рыбацкой колотушкой, бил по ногам. Как его учили. По ногам. По ногам. И

шептал — сам не зная, откуда взялись слова, — старую молитву Заре, которой мать учила его в детстве: «Свет, что разделил огонь, раздели и этот». На миг ему показалось, что железное кольцо на колотушке вспыхнуло бледным, как расцвет, светом.

И одна нога треснула.

Владыка разлома покачнулся. Ровена тут же вогнала меч ему в грудь — в самую широкую трещину, туда, где жар был ярче всего. Тварь закричала. И, падая, повернулась — и ударила наугад огромной огненной рукой.

Удар пришёлся в Дейна.

Он не почувствовал боли. Это было самое странное. Только жар — огромный, всепоглощающий, — а потом сразу темнота. Он видел, как падает. Видел, как над ним склоняется Ровена — лицо белое, рот открыт в крике, но звука нет. Видел свою руку — чёрную, обугленную, дымящуюся.

А потом не видел ничего.

* * *

Темнота была долгой. Или короткой. Там не было времени.

Там не было ничего — ни звука, ни света, ни холода. Тишина. Огромная, бесконечная. Дейн висел в ней, как в тёплой воде, и ему было спокойно. Совсем спокойно. Впервые в жизни. Не нужно было никуда идти, ничего делать, ни о чём думать. Можно было просто остаться.

Он почти остался.

А потом в темноте вспыхнула искра.

Крошечная, красно-золотая, как уголёк, выпавший из очага. Она загорелась где-то в груди — там, где должно было биться сердце. И от неё пошло тепло. Не жар твари из разлома — другое. Живое. Упрямое. Как огонь в печи, когда отец разжигал её зимним утром, а Дейн, маленький, сидел рядом и смотрел.

Искра разгоралась. И тишина вокруг отступала — нехотя, как отступает отлив.

Дейн вдохнул.

Воздух обжёг лёгкие — горячий, пахнувший серой и гарью. Он закашлялся, перевернулся на бок, его вырвало. Он лежал на оплавленном камне пещеры, а над ним стояла Ровена с мечом в руке и смотрела на него, как на призрака.

— Ты был мёртв, — сказала она шёпотом. — Я проверила. Сердце не билось. Ты был мёртв, Дейн.

Он посмотрел на свою руку. Обугленную, чёрную, как головешка. И на его глазах кожа на ней розовела, затягивалась, становилась гладкой. Через минуту рука была целой. Только на ладони, в самой середине, остался маленький след. Как ожог от уголька. Красно-золотой.

А в груди тлела искра. Он чувствовал её: тёплая, живая. Чужая — и своя.

Владыка разлома лежал у стены грудой остывающего чёрного камня. Трещина в стене погасла и затянулась, оставив только оплавленный шрам. И выжженный над ним знак —

разорванное кольцо.

* * *

Через неделю в Чаячий Мыс приехал гонец из Альдербурга.

Ровена отвезла в столицу амулеты, записи допроса и рассказ о пещере. Сама рассказывала королевскому дознавателю, а тот — королю; Дейн при этом не был, его оставили дома, долечиваться. Хотя лечить было нечего. Он был здоров. Здоровее, чем когда-либо. Только иногда, по ночам, искра в груди начинала тлеть ярче, и ему снились сны — огонь, бесконечный, кипящий, без формы и границ, и голоса в нём, зовущие куда-то.

Гонец привёз письмо с королевской печатью. Ровена прочла его вслух на крыльце, при отце и при Дейне.

«Его Величество Эдрик, король Вейсхольма, повелевает: оруженосцу Дейну, сыну Тобиаса, с Чаячьего Мыса, отправиться за море, в Пограничье, по следу тех, кто носит знак разорванного кольца. В деревне Тихий Брод явиться к старосте Борису, коему отписано о том особо. Староста укажет путь. Его Величество желает знать, кто сжигает его амбары и откуда в его королевство приходит огонь из-под земли».

Отец молчал. Потом ушёл в дом и вернулся с узлом. В узле был хлеб, вяленая рыба, отцовский нож и старый плащ.

— Возьмёшь лодку, — сказал Тобиас. — До порта на большой земле. Дальше — сам.

— Лодку я отдал, — сказал Дейн. — Орку.

Отец посмотрел на него. Потом вдруг хмыкнул — коротко, почти весело.

— Ну и правильно, — сказал он. — Мать бы тоже отдала. Ладно. Возьмёшь у Сигурда, он мне должен.

Дейн знал, что Сигурд должен отцу не деньги. Девять лет назад Сигурд вёз мать и маленькую Иву с осенней ярмарки на большой земле, и его лодка перевернулась в шторм у самого Мыса. Сигурда выбросило на скалы. Мать и Иву так и не нашли. С тех пор Сигурд каждую весну приходил помогать отцу красить синюю дверь, которую когда-то выкрасила мать, и ни разу не взял за это ни монеты. Отец ни разу его об этом не просил.

Мать пела Дейну колыбельную — про лодку, которая плывёт по звёздам и всегда возвращается к утру. Слов он уже не помнил. Только мотив. Иногда, в море, когда сети шли тяжело, а берег был далеко, мотив приходил сам.

Ровена провожала его до причала. Перед тем как он шагнул в лодку, она сняла с пояса меч — свой, старый, тот, что был у неё до капитанского, — и протянула ему.

— Колотушку оставь, — сказала она. — Ты теперь не рыбак.

— А кто?

Ровена помолчала. Посмотрела на его правую ладонь, где краснел маленький след, похожий на ожог.

— Не знаю, — честно сказала она. — Тот, кто встаёт, ко-

гда другие ложатся. Иди и узнай. И возвращайся. Мне ещё сапоги чистить некому.

Уже отвернувшись, она бросила ему что-то маленькое. Дейн поймал. Медный амулет на кожаном шнурке — тот самый, тёплый, снятый с полуэльфа.

— В Ордене посмотрели и вернули, — сказала Ровена через плечо. — Сказали, ничего не знают. Врут, по-моему. Пусть будет у тебя. Он тебя, кажется, узнаёт.

Глава 2. Холодный огонь

Степи Клыка, запад материка. Стан клана Кровавого Клыка.

Огонь клана Кровавого Клыка горел триста лет.

Его зажгли прадеды прадедов от последнего угля древнего родового костра — того, что орки вынесли с рудников Академии в ночь Восстания, за много веков до них. Говорили, что первый уголь для того древнего костра вынул из горна надсмотрщика сам Гхарр Клык, тот, кто начал Восстание. Вынул голой рукой. Донёс до степи в ладонях, не уронив, хотя ладони его к тому времени сгорели до костей. Положил в яму, вырытую в земле. И сказал: «Пока он горит — мы свободны».

Триста лет огонь не гас ни на одну ночь.

Вокруг него поставили стан. Сначала шатры из шкур, потом длинные дома из дёрна и брёвен, привезённых с далёких холмов. Вокруг стана — частокол. За частоколом — пастбища, где паслись косматые степные быки. А в центре, в широкой яме, обложенной закопчёнными камнями, горел огонь. Его кормили каждый день — сухим навозом, костями, жиром. Около него рожали детей, женили молодых, судили провинившихся. В него бросали прядь волос умерших, чтобы предки узнали их на той стороне.

Огонь был сердцем клана. Каждый орк Кровавого Клыка

знал это так же твёрдо, как знал имя своей матери.

И однажды, в конце лета, огонь погас.

* * *

Урзаг проснулся от крика.

Кричала старая Хурма, хранительница огня. Её очередь была сидеть у ямы до рассвета. Урзаг выскочил из дома с топором в руке — топор у него всегда лежал у постели, — и первое, что почувствовал, был холод.

В стане было холодно. Не так, как бывает степной ночью, когда тепло уходит в небо. Из стана вынули само тепло.

Он побежал к яме.

Хурма стояла на коленях у края, держась за голову. А в яме...

В яме лежал пепел. Серый, холодный, мёртвый. Ни одного уголька. Ни искры. Ни струйки дыма. Будто огня никогда не было.

— Я не спала, — повторяла Хурма. — Не спала. Я сидела. Я кормила. Он горел. А потом... потом он стал багровым. Багровым, Урзаг! Чужим, как свернувшаяся кровь, и шипел, как змея. И погас. Сам. За один вздох.

Вокруг уже собирались сородичи. Выбегали из домов, полуодетые, с оружием и без. Встали вокруг ямы кольцом. Никто не говорил ни слова. Смотрели на пепел.

Урзаг тоже смотрел. Внутри что-то сжималось в тугой холодный ком.

— Где Гроша? — спросил он вдруг.

Его сын. Шестнадцать зим. В эту ночь Гроша стоял в дозоре у восточных ворот. Первый раз — сам, без отца.

Никто не ответил.

И тогда со стороны восточных ворот донёсся вой.

Не волчий. Волков Урзаг знал. Этот вой был выше, тоньше, и в нём было что-то, от чего хотелось зажать уши, — так скрипит раскалённое железо.

* * *

Адских гончих было четыре.

Они перемахнули через частокол у восточных ворот, когда стан ещё стоял у погасшей ямы. Размером с быка-однолетка, поджарые, с длинными ногами, с телами, покрытыми не шерстью, а чем-то вроде обугленной коры, сквозь трещины которой пробивался красный свет. Головы — вытянутые, как у борзых, с пастью, полной чёрных зубов. Из пастей шёл дым.

И глаза. Глаза горели.

Клан встретил их у ямы. Полсотни воинов с копьями и топорами. Гончие врезались в строй, как огонь в сухую траву. Первая из них сшибла с ног двоих, вцепилась третьему в горло — и тот закричал, потому что пасть гончей была раскалена, как горн.

Урзаг бросился вперёд.

Урзаг был не самым сильным воином клана. Но он был самым упрямым. Гракх, с которым они росли в одном шатре, говорил: «Урзаг не умеет проигрывать. Он умеет только

не останавливаться». Урзаг рубил гончую топором, и топор отскакивал от обугленной коры, высекая искры. Он рубил снова. И снова. В одно и то же место. Пока кора не треснула и топор не вошёл в красное, живое, кипящее.

Гончая взвыла и упала. Из раны хлынула не кровь — огонь. Жидкий, как расплавленный металл. Трава вокруг вспыхнула.

Вторую гончую убил Гракх. Третью — трое воинов вместе. Четвёртая успела выскочить обратно за частокол и исчезнуть в степи, оставляя за собой цепочку горящих следов.

А у восточных ворот, на земле, лежал Гроша.

Урзаг нашёл его на рассвете. Мальчик лежал на спине, раскинув руки, с копьём, сломанным пополам. Вокруг — опалённая трава и глубокие следы когтей. Он не побежал. Он встретил гончих у ворот, один, и задержал их. Ненадолго. Но достаточно, чтобы его крик разбудил стан.

Лицо у Гроши было спокойным. Только на груди чернел ожог — в форме оскаленной пасти.

Урзаг сел рядом. Взял сына за руку. Рука была холодной.

Он сидел так долго. Ни слова. Ни звука. Клан стоял вокруг и молчал. Никто не подходил.

Потом шаман Мокх, старый, иссохший, весь в амулетах из клыков и перьев, опустился рядом с ним на корточки.

— Его нужно сжечь, — сказал Мокх. — Сегодня. До заката. Ты знаешь закон.

— Знаю, — сказал Урзаг.

— Но сжечь его нужно родовым огнём. От костра клана. Чтобы предки узнали его и встретили. — Мокх помолчал. — А костра больше нет.

Урзаг повернул голову и посмотрел на шамана.

Тот выдержал его взгляд.

— Обычный огонь сожжёт тело, — сказал Мокх. — Но предки его не увидят. Он будет бродить в дыму. Один. Без имени. Без рода. Ты знаешь, Урзаг. Ты знаешь, что это значит.

Урзаг знал.

— Значит, я верну огонь, — сказал он.

* * *

Мокху приснился сон в ту же ночь.

Он рассказывал его, сидя у холодной ямы, при всём клане, раскачиваясь из стороны в сторону, с закрытыми глазами. Голос у него был хриплым и далёким — не изо рта, а откуда-то из-под земли.

— Я видел скверну, — говорил Мокх. — Она пришла с востока. Она шла по степи, как чёрная вода по сухой земле. Она искала наш огонь. Знала, где он. Её привели.

— Кто привёл? — спросил Гракх. Вождь стоял у ямы, огромный, седеющий, в кожаном панцире с бронзовыми бляхами. Лицо его было каменным.

— Люди, — сказал Мокх. — Люди с востока. С кольцом, которое разорвано. Они пришли к малому разлому в Сухой балке и открыли его. Позвали из-за Завесы того, кто ест

огонь. Он пришёл, нашёл наш костёр по запаху и выпил его. Выпил. Как пьют воду.

Клан загудел.

— Демоны, — сказал кто-то. Слово пошло по кругу, как камень по воде. — Демоны. Демоны Пекла.

Орки ненавидели демонов. Это была старая ненависть, глубже, чем к Академии, глубже, чем к людям. Потому что огонь орков — родовой и честный. Огонь костра, вокруг которого сидит клан. А огонь демонов — чужой. Хищный. Он сжигает сам клан.

— Ещё я видел, — продолжал Мокх, не открывая глаз, — три тотема предков. На западе, на юге, на севере от стана. Старые. Давно забытые. У каждого когда-то горел родовой огонь — до того, как мы поставили этот стан. Если зажечь у них огонь заново — духи предков проснутся. И покажут дорогу. Туда, куда ушла скверна.

Он открыл глаза. Посмотрел на Урзага.

— Духи не откликнутся на любого. Только на того, кто потерял больше всех.

Урзаг встал.

* * *

Три тотема он обошёл за четыре дня.

Первый, западный, стоял на вершине кургана — столб из почерневшего дерева, высотой в три роста, с вырезанными на нём ликами предков: клыки, глаза, разинутые рты. Подножие заросло ковылём. Урзаг очистил его ножом, сложил

из сухого навоза и костей маленький костёр и высек огонь кремнем.

Огонь загорелся — обычный, жёлтый, весёлый. И ничего не случилось.

Урзаг сидел у костра до темноты. Кормил его. Смотрел в пламя. Потом, когда звёзды встали над степью, сказал вслух:

— Я Урзаг, сын Борга, сына Тхара. Из клана Кровавого Клыка. Мой сын Гроша погиб у ворот, держа демонских псов, пока стан просыпался. Его нечем сжечь. Покажите мне дорогу.

И огонь у тотема стал красным.

Не ярче — глубже. Как будто в обычное пламя влили кровь. Ветер вдруг затих. А резные лица на столбе — Урзаг готов был поклясться — повернулись к нему. Все разом. И в треске огня он слышал голоса. Старые. Хриплые. Много голосов, говорящих одновременно.

Восток, говорили они. Сухая балка. Там рана в земле. Иди.

Второй тотем, на юге, у пересохшего озера, сказал ему то же самое. И добавил: *Не один. Там люди. С кольцом.*

По дороге к третьему, северному, Урзаг встретил голема.

Он стоял посреди степи, в высокой траве, — огромная фигура из серого камня, вдвое выше орка. Неподвижный. Покрытый лишайником и птичьим помётом. На груди у него ещё можно было разглядеть выбитый знак Академии — семь башен в круге. Руки — каменные молоты — висели вдоль

тела. Голова, грубый каменный куб с двумя пустыми прорезями глаз, смотрела на восток.

Орки называли таких «брошенными». Когда-то Академия оживляла их, чтобы они сторожили рабов на рудниках. Потом грянуло Восстание, маги бежали, а големы остались. Без хозяев. Без приказов. Они стояли по всей степи, как надгробия, и иногда, раз в несколько лет, один из них вдруг начинал идти. Медленно, без цели. Шёл, пока не упирался во что-нибудь. Потом снова замирал.

Урзаг обошёл голема стороной. Детям Кровавого Клыка с рождения говорили: не подходи к брошенным. Не трогай. Не буди.

Но когда он проходил мимо, в пустых прорезях глаз каменной головы на миг мелькнул тусклый синий свет. И голова — со скрежетом, с хрустом осыпающегося лишайника — повернулась ему вслед.

Урзаг ускорил шаг.

Третий тотем, северный, был самым старым. От него остался только обломок — пень высотой по пояс, расколотый молнией. Лиц на нём уже не было видно. Урзаг развёл у него огонь, назвал своё имя и имя сына. Пламя стало красным, как у первых двух.

И духи сказали ему другое.

Ты принёс огонь к нам, услышал он в треске. Возьми его с собой. Отнеси сыну. Огонь у тотема — родовой огонь. Тот же, что горел у нас, когда мы были живы. Мы узнаем маль-

чика в этом дыму.

Урзаг понял не сразу. А когда понял, сел прямо на землю, в ковыль, и сидел, закрыв лицо руками.

Потом снял с пояса глиняный горшочек для углей — такой носит каждый орк в степи — и бережно, по одному, переложил в него угли от костра у тотема.

* * *

Грошу сожгли на закате пятого дня.

Весь клан стоял у погребального помоста. Урзаг сам поднёс к хворосту горшочек с углями от северного тотема. Огонь занялся сразу — красный, глубокий, и дым от него пошёл не вбок, как обычно, а прямо вверх, ровным столбом, в темнеющее небо.

— Предки узнали его, — сказал Мокх, глядя на дым. — Видишь? Они взяли его за руку.

Урзаг видел.

Он стоял, пока погребальный костёр не прогорел до углей. Потом собрал немного этих углей обратно в горшочек — по обычаю, чтобы частица сына всегда была с отцом. И пошёл к вождю.

Гракх ждал его у пустой ямы клана.

— Я ухожу на восток, — сказал Урзаг. — В Сухую балку. Туда, где те, кто погасил наш огонь.

— Нет, — сказал Гракх.

— Духи показали мне дорогу.

— Духи показали тебе дорогу к сыну. Ты её прошёл. —

Вождь смотрел на него тяжело, без злости. — Клан не ищет мести в чужих землях, Урзаг. Так было всегда. Мы веками живём в степи и не лезем в дела людей и эльфов, а демонов бьём, когда они сами приходят в степь, — и поэтому мы живы. Наш огонь погас — значит, нам нужен новый огонь. Мокх зажжёт его от тотемов. А мести не будет.

— Новый огонь — это не наш огонь, — сказал Урзаг. — Наш огонь зажжён от угля, который вынес из горна Гхарр Клык. Своими руками. Его выпил демон. Он не погас, Гракх. Он у них. Его *украли*.

— Значит, он потерян.

— Значит, я его верну.

Вождь долго молчал. Вокруг собирался клан — без шума, стараясь не мешать, но и не уходя.

— Ты знаешь закон, — сказал Гракх. — Кто уходит против воли вождя — тот больше не брат Клыка. Пока не вернётся с тем, за чем ушёл. Если вернётся.

— Знаю.

— Я рос с тобой в одном шатре, Урзаг.

— Знаю, Гракх.

Они смотрели друг на друга. Два старых орка у пустой холодной ямы, в которой триста лет горел огонь.

Потом Урзаг повернулся к Мокху.

— Шаман. Благослови меня именем предков. Не как брата клана — как сына Борга, сына Тхара. Как того, кто идёт за огнём.

Мокх посмотрел на вождя. Гракх не сказал ни слова. Отвернулся.

И шаман подошёл к Урзагу, обмакнул палец в пепел из погасшей ямы и провёл по его лбу — от брови до брови. Потом по щекам — две черты. Потом по груди — круг.

— Предки видят тебя, — сказал Мокх. — И говорят с тобой громче, чем со мной. Ты шаман, Урзаг, хоть и поздно это узнал. Иди. Вернись. Если не вернёшься — предки всё равно будут видеть.

Урзаг ушёл на рассвете. Один. С топором, горшочком углей и пеплом погасшего огня на лице.

Клан смотрел ему вслед. Гракх не смотрел. Но Урзаг знал: вождь стоит у ворот, спиной к степи, и слушает, как затихают его шаги.

* * *

Сухая балка была мёртвой.

Это был длинный овраг посреди степи, с крутыми глинистыми склонами, по дну которого когда-то текла речка. Теперь речки не было. Не было травы. Не было птиц. Земля на дне балки была чёрной, спёкшейся, как корка на пироге, который передержали в печи. А в самом конце оврага, там, где склоны сходились, в земле зияла рана.

Трещина. Длиной в три шага, шириной в ладонь. Края её дымились. А изнутри шёл красный свет — пульсирующий, живой, как биение огромного сердца.

Рядом с трещиной стоял лагерь. Несколько шатров, коно-

вязь, потухший костёр. Пусто. Люди ушли — недавно, судя по следам. Торопливо. А на большом камне у входа в лагерь кто-то выбил знак — и Урзаг, хоть и не видел его никогда, узнал его сразу. Мокх описывал его в своём сне.

Кольцо. Разорванное надвое.

А у самой трещины, спиной к нему, стоял демон.

Он был выше Урзага на голову. Тело — человеческое по очертаниям, но кожа на нём была как раскалённый металл: тёмно-красная, с чёрными прожилками, по которым бежало пламя. На голове — рога, длинные, загнутые назад. В руке — меч, широкий, тяжёлый, из чёрного вулканического стекла. Вокруг демона дрожал воздух.

И на его груди, прямо под ключицами, горел огонь.

Не демонский — Урзаг почуял это нутром, сразу. Не багровый, хищный, ревущий огонь Пекла. А жёлтый. Тёплый. Спокойный. Огонь костра, вокруг которого сидит клан. Он горел в груди демона, как в клетке, и бился о её прутья.

Огонь Кровавого Клыка.

Демон медленно обернулся.

— Орк, — сказал он. Голос был низким, рокочущим, и в нём слышалось что-то похожее на удовольствие. — Пришёл за своим огоньком? Он вкусный. Триста лет горел без перерыва. Я давно не ел такого.

Урзаг поставил горшочек с углями на землю. Бережно, чтобы не опрокинуть.

И поднял топор.

* * *

Демон был сильнее. Намного. Это стало ясно на первом же ударе, когда чёрный меч встретил его топор, и топор вывернуло из рук, и Урзаг едва успел его подхватить. Демон смеялся. Бил легко, играючи, как кот бьёт мышь. Каждый его удар оставлял на земле оплавленный след. Каждый раз, когда меч проходил мимо Урзага, кожу обжигало жаром.

Урзаг дрался, как дрался всегда. Не самый сильный. Не самый быстрый. Самый упрямый. Он бил в одно и то же место. В левое колено. Раз за разом. Демон смеялся и отбивал. А Урзаг бил снова.

И на седьмой раз топор вошёл.

Демон взревел — уже не весело. Покачнулся. Колено его треснуло, как треснула кора адской гончей у ворот стана. И Урзаг, не давая ему опомниться, ударил второй раз — в грудь, туда, где в клетке из раскалённых рёбер бился жёлтый огонь клана.

Топор пробил грудь.

И в тот же миг демон схватил его.

Обеими руками. За плечи. И прижал к себе — к своей раскалённой груди, как обнимают старого друга. Жар ударил в Урзага со всех сторон. Пламя Пекла — ревущее, багровое, хищное — хлынуло на него из раны в груди демона, охватило с головы до ног.

Урзаг горел.

Он чувствовал, как горит кожа. Как вспыхивают волосы.

Как пепел на лице — благословение Мокха — плавится и стекает. Боль была такой огромной, что перестала быть болью и стала чем-то другим — белым, звенящим, бесконечным.

Но он не разжал рук на топорщице.

Он давил на топор, всё глубже и глубже, в самую грудь демона. В клетку. Туда, где бился огонь Клыка.

И клетка треснула.

Жёлтый огонь вырвался наружу — тёплый, спокойный, родной. Он метнулся к Урзагу — не к демону, к нему, — как собака кидается к хозяину. И обнял его. Укрыл. Встал между ним и багровым пламенем Пекла.

Демон закричал. Разжал руки. Отшатнулся. Его тело, лишённое украденного огня, трескалось, как пересохшая глина, и куски раскалённой кожи отваливались, обнажая пустоту. Он сделал шаг к трещине в земле — и рассыпался. Грудой чёрного шлака, дымящейся, остывающей.

Урзаг упал.

Он лежал на спёкшейся земле Сухой балки, и от него шёл дым. Он больше ничего не чувствовал. Ни боли, ни жара, ни холода. Перед глазами было небо — серое, низкое, степное. Потом и неба не стало.

Потом был дым. Много дыма, как в стане, когда жгут погребальный костёр, и в дыму — голоса. Сотни. Они не звали его. Они ругались, спорили, пели вразнобой, как пели старики на празднике первой крови, и никто не обернулся к нему.

Кроме одного.

Отец, сказал он сквозь дым. Голос был молодым, звонким и очень знакомым. *Отец, вставай. Тебе ещё рано.*

И кто-то сунул ему в грудь уголь. Прямо так, голой рукой, как суют уголь в остывший горшок, чтобы раздуть.

* * *

Он очнулся на закате. Сел. Посмотрел на свои руки.

Они были целыми. Кожа на них — гладкой, серо-зелёной, без единого ожога. Он ощупал лицо. Целое. Грудь. Целая. Только посредине правой ладони остался след — маленький, круглый, красно-золотой.

И внутри что-то тлело. Это чувство он знал: так тепло бывает от горшочка с углём клана, если носить его за пазухой.

Урзаг не понимал, что случилось. Орки не возвращаются из-за порога. Никто не возвращается. Мёртвых сжигают, и предки берут их за руку.

Рядом с ним, на земле, стоял глиняный горшочек. Тот самый, с углями Гроши. И в нём — Урзаг наклонился ближе — в нём горел огонь. Жёлтый. Тёплый. Спокойный.

Огонь Кровавого Клыка. Не весь — малая искра, уголёк, который успел вырваться из груди демона и упасть в горшочек, к углям погребального костра. Но живой.

Урзаг долго смотрел на него. Потом бережно закрыл горшочек крышкой и прижал к груди, к искре.

Он мог бы вернуться в стан. Сейчас. Отдать уголёк Мокху. Зажечь заново яму клана. Стать снова братом Клыка.

Но в лагере культистов у трещины он нашёл их следы. И бумаги — обрывок письма, брошенный в спешке, наполовину сгоревший. Урзаг плохо читал на всеобщем, но два слова разобрал. Одно — «Пограничье». Другое — «Брод».

Те, кто привёл демона к огню его клана, ушли на восток. Туда, где сходятся все дороги. И если их не остановить, они приведут других демонов к другим кострам.

Урзаг посмотрел на запад, где за горизонтом лежал стан Кровавого Клыка. Потом — на восток.

И пошёл на восток.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОГРАНИЧЬЕ

Глава 3. Тихий Брод

В Пограничье говорят: все дороги ведут к Броду, и только одна — обратно.

Дейн услышал эту поговорку от возницы, который подобрал его на тракте в двух днях пути от порта. Возница вёз в Тихий Брод соль и гвозди, был словоохотлив и всю дорогу рассказывал, как в Пограничье стало плохо жить. Свинорылы. Мертвецы на старых курганах. Какие-то огни по ночам в холмах. Беженцы — с запада, с севера, с юга, отовсюду, — и все идут в Брод, потому что больше идти некуда.

— А почему только одна обратно? — спросил Дейн. Возница подумал.

— А потому что кто пришёл в Брод, тот уже не уходит, — сказал он. — Или уходит не туда, куда собирался.

Дейн решил, что это шутка.

* * *

Тихий Брод стоял там, где пять трактов сходились у реки Тиши.

Река была неширокой, медленной, с песчаным дном, и в этом месте её можно было перейти по колено — отсюда и название. Тракты подходили к броду с пяти сторон, как спи-

цы к ступице колеса. Северный — от гор Каменного Чертога. Западный — из Степей Клыка. Восточный — из пущи Сильванора. Южный — от Медовых Холмов. И пятый, Портовый, — от морской гавани, откуда ходили корабли на Вейсхольм.

На самом броду, посреди реки, на плоском валуне, стоял верстовой камень — древний, старше деревни, старше любого королевства. На нём было выбито пять стрелок, по одной на каждый тракт. Никто не знал, кто их выбил. Говорили, что камень этот стоял здесь, когда людей ещё не было на свете, и что стрелки на нём иногда показывают не туда.

Сама деревня была большой — дворов шестьдесят, — шумной, грязной и тесной. Вокруг неё недавно поставили частокол — свежий, жёлтый, ещё пахнувший смолой. Внутри теснились дома, амбары, конюшни, лавки, кузня, часовня Зари с облупившимся золотым солнцем на коньке, и повсюду — шатры, телеги, костры. Беженцы. Сотни. Люди с запада, у которых свинорылы сожгли хутора. Люди с севера, у которых на погостах встали мертвецы. Полурослики с юга, тихие и испуганные. Даже двое гномов — молчаливых, мрачных, сидевших у кузни на своих мешках.

А посреди всего этого, на крыльце большого дома с резными наличниками, стоял староста.

— Оруженосец с Мыса! — закричал он, едва увидев Дейна, и раскинул руки, как навстречу родному сыну. — Ну наконец-то! Мне писали! Из самой столицы, вестовой книгой — до ближнего двора, а оттуда гонцом! С печатью! Я это

письмо в раму вставлю, ей-Заре!

Старосту звали Борис. Он был огромным, лысым, с рыжей бородой лопатой и смехом, от которого звенели стёкла. Ему было лет пятьдесят. Он был вдовцом, варил лучший квас в Пограничье, знал по имени каждого жителя деревни и, кажется, каждого беженца тоже. Он писал письма для неграмотных, разнимал драки, раздавал хлеб из общинного амбара и сам таскал брёвна, когда ставили частокол.

Дейн понравился ему с первого взгляда. А он понравился Дейну.

— Пойдём, пойдём, — Борис втащил его в дом, усадил за стол, поставил перед ним миску щей и кружку кваса. — Ешь. Ты с дороги. Потом расскажешь. Король пишет, ты ищешь каких-то людей с кольцом? Разорванным? — Он покачал головой. — Ох, мальчик. У нас тут нынче такое творится, что я уж и не знаю, кого искать, а от кого прятаться. Но я помогу. Чем смогу.

Дейн ел щи и слушал. Борис говорил много, быстро, перескакивая с одного на другое. О свинорылах, которые повадились ходить к мельнице. О ржавых воинах, которые по ночам поднимаются на старом поле битвы за рекой. О мертвецах на курганах к северу. О беженцах, которых становится больше с каждым днём.

— И гости, — сказал он вдруг, понизив голос. — Гости к нам странные пошли. Ты третий за неделю.

— Третий?

— Ну, ты — понятно, от короля. А до тебя — эльфийка.
— Борис кивнул на окно. — Третий день сидит у реки. Ни с кем не говорит. Пришла с восточного тракта, с котом.

— С котом?

— Ну, с рысью. Большой такой. Серебряной. — Староста поёжился. — Народ боится к ней подходить. А она сидит и поёт. Реке. Целыми днями.

— А второй?

— А второй — вон, у кузни. Гномы. Пришли с беженцами с севера. Говорят, у них в горах шахта обвалилась. Сидят, молчат. — Борис помолчал. — Тот, что помоложе, по ночам не спит. Ходит по деревне с мешком, а мешок у него... дымится, что ли.

Дейн положил ложку.

Он подумал о своей ладони. О маленьком красно-золотом следе, который прятал под перчаткой с самого Чаячьего Мыса.

— Я схожу посмотреть на реку, — сказал он.

* * *

Эльфийка сидела на камне у самой воды, обхватив колени, и пела.

Дейн никогда раньше не видел эльфов. На Вейсхольме их не было — разве что раз в несколько лет приплывал торговый корабль из Лаэльвина, и тогда половина Альдербурга сбегалась в гавань посмотреть. Он представлял их иначе. Выше. Холоднее. Прозрачнее.

Эта была тонкой, светловолосой, в серо-зелёном дорожном плаще, перепачканном грязью. На лбу — простой серебряный обруч. Длинные острые уши торчали из-под волос, как у лисицы. Рядом с ней, положив голову на лапы, лежала рысь — серебристо-серая, огромная, с кисточками на ушах. Она открыла один глаз, посмотрела на Дейна и снова закрыла. Не сочла опасным.

Эльфийка пела без слов. Тихо, на одной ноте, почти шёпотом. Разговаривала с водой. Река у её ног текла лениво, и над ней, в том месте, куда эльфийка смотрела, вода была прозрачнее, чем везде.

Дейн остановился в десяти шагах. Не хотел мешать.

Песня оборвалась.

— Ты горячий, — сказала эльфийка, не оборачиваясь. Голос у неё был ровным, без всякого выражения.

— Что?

— Ты горячий, — повторила она. — Внутри. Я слышу. Как будто ты проглотил уголь.

Дейн невольно сжал правую руку в кулак.

Эльфийка наконец обернулась. Глаза у неё были зелёными — не как листва, а как вода в глубоком омуте. Она посмотрела на его сжатый кулак. Потом в лицо. Долго, внимательно.

Её правая рука тоже была сжата в кулак. Плотно. Так, что побелели костяшки.

— Я Лиэнна, — сказала она. — Из дома Тирэль. Храни-

тель пущи Сильванора.

— Дейн. С Чаячьего Мыса. Оруженосец.

Они смотрели друг на друга. Тиша спокойно текла между ними.

— Зачем ты здесь? — спросила Лиэнна.

Дейн не ответил. Расстегнул ворот рубахи и вытащил на свет медный амулет на кожаном шнурке. Кольцо, разорванное надвое.

Эльфийка посмотрела на него — и в её глазах что-то дрогнуло. Она сунула левую руку за пазуху и достала сложенный вчетверо лист пергамента. Развернула. Это была карта. Грубая, нарисованная углём. А в одном её углу — тот же знак.

— Вот зачем, — сказала она.

Больше они в тот день ни о чём не говорили. Но Дейн сел на соседний камень, и Лиэнна не прогнала его. Так они и сидели до заката — рядом и молча, каждый со сжатой правой рукой.

Только однажды, когда он отвернулся к реке, она посмотрела на него — дольше, чем смотрят на чужого. Поймала себя на этом и нахмурилась, как хмурятся на фальшивую ноту в собственной песне. Дейн этого не видел.

* * *

Орк пришёл на следующее утро.

Дейн слышал крики ещё до того, как увидел его. Кричали у западных ворот — пронзительно, по-бабьи. Потом зазвенел набатный колокол на сторожевой вышке. Беженцы бро-

сились врассыпную — кто под телеги, кто в дома, кто к реке.

Дейн побежал к воротам. По дороге его обогнала Лиэнна — с клинком в руке, с рысью у ноги.

У ворот стояла стража — шестеро мужиков с вилами и рогатинами. Они выставили всё это вперёд, как ёж выставляет иглы, и пятились. А перед ними, на западном тракте, в десяти шагах от частокола, стоял орк.

Он был огромен. Серо-зелёный, широкоплечий, с бритой головой и чёрным гребнем волос. На лбу и щеках — полустёртые следы пепла: кто-то рисовал на нём знаки, и их смыло дождём. За спиной — топор. На поясе — глиняный горшочек, плотно закрытый крышкой, и из-под крышки струился тонкий дымок.

Орк не доставал оружия. Просто стоял и смотрел на стражу. Устало. Без злобы.

— Не подходи! — визжал один из стражников. — Не подходи, нелюдь! Убью!

— Я не пришёл драться, — сказал орк. Голос у него был низким и хриплым, всеобщий язык он выговаривал медленно и гортанно. — Я пришёл за теми, кто носит знак.

— Какой ещё знак?!

Лиэнна шагнула вперёд, мимо стражи. Клинок в её руке смотрел орку в грудь. Рысь рядом с ней прижала уши и зарычала.

— Орк в Пограничье, — сказала эльфийка холодно. — С запада. Где разломы. Где демоны. Ты знаешь, что говорят о

таких, как ты?

Орк посмотрел на неё. На клинок. На рысь. И впервые в его глазах мелькнуло что-то, кроме усталости, — что-то тяжёлое, тёмное, опасное.

— Говорят много, — сказал он. — Эльфы особенно. Эльфы всегда говорят много. А потом уходят в свой лес и смотрят, как горит степь.

Он положил руку на рукоять топора.

И тогда Дейн сделал то, чего сам от себя не ждал. Он прошёл между Лиэнной и орком. Встал прямо перед клинком. И протянул орку на раскрытой ладони — левой, не правой — медный амулет.

— Этот знак? — спросил он.

Орк посмотрел на амулет. Потом медленно, очень медленно убрал руку с топора. Сунул её за пазуху. И достал обрывок обгоревшего пергамента. На нём было написано несколько слов. И нарисован знак — кольцо, разорванное надвое.

— Этот, — сказал орк. — Мой клан погасили этим знаком. Моего сына убили этим знаком. Я Урзаг. Я пришёл найти тех, кто его носит.

— Я тоже, — сказал Дейн. И, не оборачиваясь, добавил: — И она тоже.

За его спиной молчали. Потом клинок с шелестом ушёл в ножны.

— Если ты солжёшь, орк, — сказала Лиэнна, — я узнаю. Лес всегда знает, когда лгут.

— Если солжёшь ты, эльфийка, — ответил Урзаг, — я тоже узнаю. Пепел тоже знает.

И они смотрели друг на друга над плечом Дейна, как две собаки, которых один хозяин заставил есть из одной миски.

* * *

Гнома Дейн нашёл у кузни в тот же вечер.

Тот сидел на перевёрнутой бочке у горна и работал — правил кому-то из беженцев топор, ровными, точными ударами, от которых по кузне разлетались искры. Невысокий даже для гнома, но широкий, как дубовая колода, с тёмной бородой, заплетённой в две косы, одна из которых была заметно короче другой — будто её недавно опалило огнём и он обрезал обгоревшее. Руки — огромные, в старых шрамах. Лицо — каменное. Он не поднял головы, когда Дейн вошёл.

Рядом с ним на земле стоял кожаный мешок, туго завязанный. Мешок и правда дымился. Тонкой, едва заметной струйкой, как остывающая головня.

Местный кузнец, хозяин горна, стоял в углу и смотрел на гнома с благоговейным ужасом.

— Он мне три лемеха за утро выправил, — шёпотом сказал он Дейну. — Три! И руны на них какие-то выбил. Говорит, теперь сто лет не затупятся. Денег не взял. Только попросил горн по ночам. — Кузнец понизил голос ещё больше. — А ночью он не работает. Он сидит у огня, достаёт из мешка какой-то камень и смотрит на него. Всю ночь. И камень светится.

Дейн подошёл к гному.

— Я Дейн, — сказал он. — С Вейсхольма.

Гном не ответил. Ударил по топору ещё раз. Повернул. Посмотрел на лезвие. Ударил снова.

— Я ищу людей, которые носят знак разорванного кольца, — сказал Дейн.

Молот замер в воздухе.

Гном поднял голову. Глаза у него были тёмными, глубоко посаженными под тяжёлыми бровями. И в них было то, чего Дейн не видел ни у Лиэнны, ни у Урзага. Не горе. Не гнев. Холодную, тяжёлую, как гранит, решимость.

— Не людей, — сказал гном. — Гнома. Одного. Его зовут Даргаст, сын Ольма. Он носит этот знак. — Он отложил молот. — Если найдёшь его раньше меня, оруженосец с Вейсхольма, — оставь его мне. Я выбил это в камне.

Он протянул руку. Левую.

— Бран Дургалсон. Рунный кузнец Каменного Чертога.

Дейн пожал её. Рука была горячей. Горячее, чем бывает у человека, — или у гнома, — который сидит у горна.

Они оба держали правые руки при себе.

* * *

Ржавые воины пришли в полночь.

Дейн не спал. Он лежал на лавке в доме старосты и смотрел в потолок, и ладонь под перчаткой горела. Сильнее, чем обычно. Сильнее, чем когда-либо с той ночи под маяком. Искра в груди толкалась в такт сердцу, и что-то тянуло его

встать, выйти, идти — туда, на запад, за реку.

Он встал. Вышел на крыльцо.

Над Тишей стоял туман. А за туманом, на том берегу, на старом поле, где, по словам Бориса, сто лет назад была битва между людьми и орками, — горели огни.

Не костры. Огоньки. Маленькие, красно-оранжевые, тусклые, как угли под золой. Десятки. Они двигались. Медленно, ровными рядами, к реке. К броду.

Набатный колокол на вышке ударил один раз — и замолчал. Будто стражника, который в него бил, что-то остановило.

Дейн схватил меч Ровены и побежал к реке.

На берегу уже стояли трое.

Лиэнна — с клинком и посохом, рысь у ноги. Урзаг — с топором на плече, горшочек на поясе дымился сильнее. И Бран — с молотом в одной руке и своим мешком в другой. Мешок светился изнутри оранжевым, и от него шёл жар.

Никто из них не удивился, увидев остальных.

— Чуешь? — спросил Урзаг, не оборачиваясь. Ноздри его раздувались. — Демонский огонь. Как в Сухой балке.

— Не демонский, — глухо сказал Бран. — Хуже. Это изпод земли. Из самой глубины. Как в Нижнем Горне.

Лиэнна ничего не сказала. Она стояла очень прямо, сжимая посох, и лицо у неё было серое, неживое. Губы шевелились. Она пыталась петь — и у неё не получалось.

Из тумана вышли ржавые воины.

Это были доспехи. Старые, изъеденные ржавчиной, с вмятинами и прорехами от давно забытых ударов. Шлемы — человеческие, с забралами. Кирасы — помятые. Наручи, поножи, кольчужные юбки, — всё рыжее, бурое, рассыпающееся. А внутри доспехов ничего не было. Совсем. Пустота. Только там, где у человека должно быть сердце, в глубине каждой кирасы тлел уголёк. Красно-оранжевый. Пульсирующий.

И этот уголёк двигал доспех.

Они шли ровно, строем, скрипя и лязгая, и в руках у них были ржавые мечи, ржавые копья, ржавые топоры — оружие мёртвых солдат, которое век пролежало в земле.

— Двадцать, — сказал Урзаг. — Двадцать пять.

— Тридцать, — сказал Бран.

— А нас четверо, — сказал Дейн.

И все четверо, не сговариваясь, шагнули вперёд.

* * *

Удивительно было одно: как они сражались. Не как четверо незнакомцев, которые ещё позавчера не знали друг о друге. А как люди, которые знают друг друга всю жизнь.

Урзаг шёл впереди. Его топор рубил ржавые доспехи, как сухие ветки, — каждый удар разваливал кирасу надвое, и уголёк внутри с шипением гас. Орк дрался молча, ровно, неумоимо, как косарь на лугу.

Бран держал левый фланг. Его молот бил по доспехам, и руны на бойке вспыхивали синим, и каждый удар отбрасывал ржавого воина назад, в туман, — а молот возвращался

в руку гнома сам.

Дейн держал правый. Бил по ногам. Как учила Ровена. По ногам — а когда доспех падал, бил в кирасу, туда, где тлел уголёк. Меч Ровены был лучше рыбацкой колотушки. Намного лучше.

А Лиэнна...

Лиэнна стояла позади и пыталась петь. Дейн слышал её — краем уха, сквозь лязг и скрежет. Её голос дрожал, срывался, затихал. Ни одна лоза не вырастала из земли. Ни один порыв ветра не поднимался.

Один из ржавых воинов прорвался мимо Дейна. Пошёл прямо к эльфийке. Поднял ржавый меч. Уголёк в его груди пульсировал, и от него шёл жар.

Лиэнна посмотрела на этот уголёк — и замерла.

Дейн видел её лицо в этот миг. Это было лицо человека, который видит свою смерть. Не будущую — прошлую. Ту, которая уже случилась.

— Лиэнна! — закричал он.

Рысь прыгнула. Серебристая вспышка — и ржавый воин отлетел в сторону, рассыпаясь на куски. Уголёк выкатился из кирасы и покатился к ногам эльфийки.

Лиэнна наступила на него сапогом. С хрустом. С яростью. И с этим хрустом что-то в ней сломалось — или наоборот, встало на место. Она вскинула посох и запела — громко, отчаянно, в полный голос.

Из земли по всему берегу вырвались лозы. Сотни. Они

оббили ржавых воинов, стянули, сжали — и доспехи начали трещать, сминаться, ломаться, как скорлупа. Угольки внутри шипели и гасли один за другим.

Через минуту на берегу Тиши не осталось ни одного ржавого воина. Только груды искорёженного металла и туман.

* * *

Они стояли посреди этого поля из ржавого железа — четверо, тяжело дыша, — и не смотрели друг на друга.

Первым заговорил Бран. Он поднял из груды металла остывший уголёк — то, что от него осталось: маленький чёрный камешек, оплавленный, похожий на стекло. Повертел в пальцах. Потом развязал свой мешок и достал из него другой камень — больше, размером с кулак, неровный, острый, и он светился изнутри тускло-оранжевым.

Он поднёс их друг к другу. Мёртвый уголёк — и живой осколок.

Осколок вспыхнул ярче.

— Одно и то же, — сказал Бран. — Это одно и то же. Тот же огонь. Из того же места.

— Откуда у тебя этот камень, гном? — спросил Урзаг.

Бран посмотрел на него. Потом на остальных. Потом убрал осколок обратно в мешок и завязал.

— Из места, о котором я не хочу говорить, — сказал он.

Никто не стал спрашивать дальше. У каждого из них было такое место.

Со стороны деревни уже бежали люди — с факелами, с

вилами. Впереди всех — Борис, в одной рубахе, с фонарём в одной руке и с огромной сковородой в другой.

— Живы?! — заорал староста, ещё не добежав. — Ох, светлые небеса, живы! — Он остановился, увидел груды ржавого железа, поднял фонарь повыше и присвистнул. — Ничего себе. Это вы — их? Вчетвером? Всех?

— Всех, — сказал Дейн.

Борис смотрел на них. На эльфийку с посохом. На орка с топором. На гнома с молотом. На оруженосца с мечом. Потом вдруг расхохотался — громко, раскатисто, от души, на весь берег.

— Вот это я понимаю — гости! — кричал он. — Вот это гости! Ну, ребята, с меня квас! Лучший квас в Пограничье! И пироги! Пойдёмте, пойдёмте, нечего тут на холоде стоять!

Он обнял ближайшего — это оказался Урзаг, и орк от неожиданности даже не сопротивлялся, — и потащил к деревне.

Дейн шёл последним. Смотрел в спины своим новым спутникам. И заметил — потому что сам делал то же самое, — что каждый из них держит правую руку сжатой в кулак.

Лиэнна. Урзаг. Бран.

И он сам.

Четыре сжатых кулака. Четыре тайны.

Он ещё не знал, что скоро их станет пять.

Глава 4. Байка полурослика

Медовые Холмы. За три недели до этого.

Дневник дяди Бэрри принесла Пиппа Медовар.

Она пришла в сумерках, без стука, как ходят ворожеи и родня, — а Пиппа была и тем и другим, — сняла очки, протёрла их подолом и положила на стол перед Тимом потрёпанную книжицу в кожаном переплёте.

— Медовой почтой пришёл, — сказала она. — Возчик с южного тракта нашёл в канаве у моста, вместе с пустым кошельком. Узнал наш знак на обложке — пчелу — и сдал на ближнюю пасеку. А оттуда уж как водится: от пасеки к пасеке, от пони к пони.

Тим открыл. Дядин почерк — крупный, кривой, с кляксами — он узнал бы где угодно. Записи были обычные: цены на воск, долги, «у Бориса в Броде квас лучше, чем у нас, не говорить бабушке». А последняя страница была другая. Буквы прыгали: дядя писал на ходу, на колене, в трясущейся телеге.

«Нанялся проводником к людям в серых плащах. Платят хорошо. Слишком хорошо. Идём на север. Руки у них чистые, у проводников так не бывает. Если не вернусь к сбору мёда — Тимми, не вздумай меня искать. Сиди дома. Слышишь? Сиди дома».

— Он тебя знает, — сказала Пиппа.

— Знает, — согласился Тим. И пошёл собирать мешок.

Бабушка Матильда не плакала. Медовары не плачут, когда кто-то уходит; Медовары плачут потом, одни, над тестом. Она молча собрала ему сухарей, сыра, свой старый ножик для трав с костяной ручкой. А последним достала из погреба кусок сота, завернула в вощёную тряпицу и вложила ему в ладонь.

— Липовый, — сказала она. — Это не на еду, Тимми. Это на самый крайний случай.

— А как я узнаю, что он крайний?

— Узнаешь, — сказала бабушка. — Крайний случай всегда узнаёшь. Он один такой.

Тим спрятал мёд на самое дно мешка, под сухари. И за всю дорогу ни разу его не тронул, даже когда сухари кончились.

Троль сидел под мостом через Гнилушку на третий день пути. Он был не огромный — это потом, в тавернах, он вырос. Обычный горный троль, серо-бурый, тощий, с цепью, вбитой в опору моста, и с ошейником, на котором тускло светились синие руны. Те, кто его туда посадил, хотели, чтобы по мосту никто не ходил. По мосту никто и не ходил. Кроме Тима, которому надо было на север.

Троль смотрел на него маленькими жёлтыми глазками. И в этих глазках была не злоба, а такая тоска, что Тим, сам не зная зачем, развязал мешок и достал — не бабушкин мёд, бабушкин был на крайний случай, — горшочек диких сот, купленный в последней деревне. И протянул.

Троль ел мёд целый час, вылизывая каждый угол горшка. А Тим тем временем залез ему на плечо и ковырял бабушкиным ножиком замок ошейника. Замок был хороший, с рунным защёлком. Но и ножик был бабушкин.

Ошейник упал в реку. Троль посмотрел на Тима и сказал.
— Гррм.

— Тим, — сказал Тим. — Очень приятно.

Лагерь людей в серых плащах он нашёл через два дня, у развилки старого тракта. Пять шатров, коновязь, клетки, в которых визжали свинорылы. Тим видел их и раньше, на ярмарках и в огородах: мелкий степной народец ростом с полурослика, щетинистый, с плоскими подвижными рылами и красными глазками. Они крали кур, свистели друг другу в костяные свистки и боялись собак. Но в клетках они были не похожи на воров. Они жались друг к другу и визжали тонко, как дети, а их везли куда-то на север, как скот. Дяди в лагере не было. Тим лежал в кустах до темноты, считал часовых и думал, что надо уходить, — и уже уходил, когда под ногой хрустнула ветка.

Дальше всё было быстро. Свистки. Факелы. Склон, по которому он карабкался, цепляясь за корни. Он был уже почти наверху, когда его ударили в спину — не больно, просто толчок, будто кто-то ткнул пальцем между лопаток. Он упал лицом в мокрую траву и удивился, что не может встать.

Потом стало темно и тепло. И совсем не страшно. Тим даже успел подумать, что бабушка будет плакать над тестом, и

что это несправедливо, потому что мёд так и остался нетронутый.

А потом в самой середине правой ладони, которой он всё ещё цеплялся за траву, что-то вспыхнуло.

Он открыл глаза. Над ним стоял Гррм — которого он оставил у моста два дня назад и который, оказывается, никуда не ушёл, — и держал того, с ножом, за ногу. Вниз головой. Как куклу.

Тим полежал. Потрогал спину. В рубаше была дыра, края её засохли колом. А под дырой — гладкая кожа.

— Гррм, — сказал он хрипло. — Ты что, шёл за мной?

— Гррм, — согласился тролль.

Человека с ножом они отпустили. Тим настоял. Тот убежал в темноту, не оглядываясь, и Тим ещё слышал, как он ломится через кусты. А потом сел на траву, обхватил колени и сидел так до рассвета, глядя на свою ладонь. И впервые с тех пор, как ушёл из дома, ему не хотелось ничего рассказывать.

Тролль появился на южном тракте в базарный день, около полудня.

Сначала его увидели мальчишки, которые удили рыбу с моста через протоку. Они не закричали — от ужаса у них отнялись языки, — а молча побросали удочки и побежали в деревню во весь дух. Потом его увидела стража на южной вышке. Стража закричала. Ударил набат. Базар — лотки, телеги, корзины с яблоками, клетки с курами — опустел за де-

сать вдохов.

Дейн, Урзаг и Бран добежали до южных ворот одновременно. Лиэнна уже стояла на частоколе, с посохом, и смотрела на тракт.

— Троль, — сказала она. — Горный. Взрослый.

— Вижу, — сказал Урзаг. Он прищурился. — Он... идёт за кем-то?

Троль и правда шёл не к деревне. Он шёл по тракту, переваливаясь, огромный, серо-бурый, похожий на поросший мхом валун, который вдруг встал на ноги. И держался в сотне шагов позади маленькой фигурки, которая шагала по тракту впереди него.

Фигурка была полуросликом. С заплечным мешком, с пращей на поясе, в зелёной курточке и с непокрытой кудрявой головой. Полурослик шёл бодро, насвистывая, и время от времени оборачивался и махал троллю рукой.

Троль не махал в ответ. Но и не отставал.

У самых ворот полурослик остановился, задрал голову и посмотрел на четверых на частоколе. Улыбнулся во весь веснушчатый рот.

— Добрый день! — крикнул он. — Это Тихий Брод? Мне сказали, здесь лучший квас в Пограничье. И ещё мне нужен староста. И немного пирогов, если найдутся.

— А это что? — спросил Бран, кивая на тролля.

Полурослик обернулся. Троль стоял на тракте в сотне шагов, неподвижный, и смотрел на деревню маленькими

жёлтыми глазками.

— А, — сказал полурослик. — Это Гррм. Он не кусается. В смысле — кусается, конечно, но не меня. Он за мной от самых Холмов идёт. Я ему говорил: иди домой. А он не идёт.

— Почему?

Полурослик пожал плечами.

— Я ему однажды мёду дал. — Он подумал. — И ошейник снял. Наверное, за ошейник.

* * *

Полурослика звали Тимоти Кочка, и вечером в таверне «Пять дорог» не было ни одного свободного места.

Все хотели посмотреть на чудака, за которым по пятам ходит горный тролль. Тролль, кстати, остался за частоколом — лёг в овраге у реки и, по словам стражи, уснул. Но время от времени из оврага доносилось сопение, от которого дрожали ставни, и тогда в таверне на миг становилось тихо.

Тим сидел за центральным столом, на двух подушках, чтобы доставать до кружки, и ел. Он съел три пирога с капустой, два с грибами, миску каши и половину жареного гуся. Потом попросил ещё пирог, с яблоками. Таверна смотрела на него с восхищением.

— Ну? — сказал Борис. Староста сидел напротив и подливал полурослику квас. — Рассказывай, гость. Народ ждёт.

Тим вытер рот рукавом, отодвинул тарелку и оглядел таверну. Глаза у него блестели. Полурослик получал от этого огромное удовольствие — это было видно даже из угла, где

Дейн сидел с Лиэнной, Урзагом и Браном.

— Ну, значит, так, — начал Тим. — Сижу я, значит, у себя в Холмах. Яблоки собираю. Сорок... то есть полсотни яблонь у меня, и все — медовка. Вы пробовали медовку из Холмов? Нет? Ну, многое теряете. И вот прибегает ко мне соседка, тётушка Кубышка, и кричит: Тимми, Тимми, свинорылы!

Он рассказывал долго. С подробностями. С жестами. Изображал в лицах свинорылов, идущих строем, — и таверна покатывалась со смеху. Изображал Пиппу Медовар в очках — и таверна хохотала. Рассказывал про дядин дневник — и таверна притихла. Рассказывал про тролля под мостом, про мёд, про то, как залез ему на плечо и вскрыл замок ножиком для трав, — и таверна слушала, затаив дыхание, а потом взорвалась аплодисментами.

Полурослик привирал. Троль под мостом становился всё больше с каждым словом. Свинорылы множились. Лагерь погонщиков вырос из пяти шатров в двадцать. Но было в рассказе что-то, что звучало не как байка. В те моменты, когда Тим говорил о дяде, голос его становился тише, и улыбка уходила с лица.

— ...И вот, значит, бегу я вверх по склону, — говорил Тим. — А за мной — эти, в серых плащах. С факелами. Свистят в свои свистки. Свинорылы визжат. Я уже почти наверху. Почти! И тут — раз! — Он хлопнул ладонью по столу. — Мне ножом в спину. Вот сюда. — Он ткнул себя большим

пальцем между лопаток. — И я, значит, падаю. И умираю.

В таверне засмеялись.

— Насмерть! — повысил голос Тим, перекрывая смех. — Честное слово! Лежу мёртвый. Совсем. Темно, тепло, хорошо. Думаю: ну всё, Тимми, отъездился. А потом — бац! — открываю глаза. И я живой. А надо мной стоит Гррм и держит того, с ножом, за ногу. Вниз головой. Как куклу.

Таверна взорвалась хохотом. Хохотали все — стражники, беженцы, кузнец, вдовы, дети, сам Борис, утиравший слёзы рукавом. Кто-то кричал: «Мёртвый! Ну даёт полурослик!», кто-то — «Налейте покойнику кваса!», кто-то стучал кружкой по столу.

Не смеялись только четверо.

Дейн сидел неподвижно. Перчатка на правой руке вдруг стала горячей. Он не смотрел на остальных. Но знал, что они тоже не смеются. Чувствовал это — так же, как чувствовал искру в груди.

Лиэнна смотрела на полурослика, побелев. Урзаг перестал жевать. Бран поставил кружку на стол — очень осторожно, чтобы не стукнуть.

Тим посмотрел в их угол.

И его улыбка медленно погасла.

Он смотрел на четыре серьёзных, неподвижных лица посреди хохочущей таверны. На четыре правые руки, сжатые в кулаки. Секунду. Две. Три.

Потом, не говоря ни слова, Тим Кочка опустил глаза на

собственную правую ладонь, лежащую на столе. И сжал её в кулак тоже.

— Ну, это я, конечно, приврал, — сказал он громко, снова улыбаясь, но улыбка была уже не такой. — Про «умер». Просто сознание потерял. Но звучит-то красиво, а?

И таверна снова засмеялась, и кто-то затянул песню, и про полурослика забыли.

Кроме четверых в углу.

* * *

Про дядю Бэрри Тим спросил Бориса уже ночью, когда таверна опустела.

Староста почесал лысину.

— Полурослик? Торговец? С Холмов? — Он нахмурился, вспоминая. — Был такой. Не в начале лета, а позже... С месяц назад. Но не сам по себе. С караваном. Люди в серых плащах, человек десять. Вежливые. Платили серебром. Купили у меня овса, сухарей, верёвок. А полурослик у них правил передней повозкой. Я ещё подумал: чего это он такой невесёлый. Я ему квасу налил, он даже не выпил.

Тим подался вперёд.

— Куда они пошли?

— На север. — Борис махнул рукой. — По северному тракту, а потом свернули. Туда, к Курганам.

— Каким курганам?

Борис помрачнел.

— Старые могилы, — сказал он. — Полдня пути. Там ле-

жат короли, что правили Пограничьем, когда ещё никакого Вейсхольма не было. Нехорошее место. Наши туда не ходят. А в последние месяцы там вообще... — он понизил голос, — там мертвецы встали. Колдуны какие-то. Говорят, их Костяной Король поднял. Тот, что в самом большом кургане лежит.

— Зачем люди в серых плащах пошли к мертвецам?

— А я почём знаю? — Староста развёл руками. — Я им не советчик. Я им квас продаю. — Он вдруг тяжело вздохнул и положил огромную ладонь Тиму на плечо. — Иди спать, малый. Утро вечера мудренее. А если пойдёшь к Курганам — не ходи один. Возьми с собой этих четверых. Вон они, сидят, тебя ждут.

Тим обернулся.

Дейн, Лиэнна, Урзаг и Бран сидели в тёмном углу пустой таверны. Свеча на их столе догорала.

Тим слез с подушек. Подошёл. Сел на свободную лавку. Посмотрел на каждого по очереди.

Никто ничего не сказал.

Потом Урзаг подвинул к полурослику свою недопитую кружку кваса.

— Значит, к Курганам, — сказал Дейн.

— Значит, к Курганам, — сказал Тим.

И пять сжатых кулаков лежали на одном столе. Пока ещё сжатых.

Глава 5. Из Книги Чертога

Запись, выбитая рукою тана Бронгара, сына Бронна, на сорок первой плите Книги Чертога, в Палате Памяти под Бронгардом. Плиты Книги не читают вслух. Их читают пальцами, в темноте, — так, как читали их предки.

* * *

Я, Бронгар, тан Каменного Чертога, выбиваю это в камне, потому что камень не лжёт, а я стар и боюсь, что моя память солжёт мне раньше, чем я умру.

В месяц Тяжёлой Руды, на исходе смены, в шахте Нижний Горн загорелся камень.

Я спустился в забой сам, как велел мне прадед. Я видел трещину. Она была как рана, и из неё шёл огонь, который был до огня. Я видел резьбу вокруг неё — тонкую, гномью, — и знак разорванного кольца. Я знаю руку, что резала этот камень. Её имя выбито на тридцать девятой плите, среди проклятых: Даргаст, сын Ольма. Пусть камень помнит, что он вернулся.

Трое рудокопов погибли в тот день. Имена их — на соседней плите, в ряду почётных. Ещё семеро остались живы. Они остались живы потому, что рунный кузнец Бран, сын Дургла, положил ладонь на раскалённый камень и держал руну Печати, пока они не вышли.

Я стоял рядом. Я видел его руку. Я видел, как кожа на ней

чернела и лопалась. Я видел, как вспыхнула его борода, и сбил пламя своей перчаткой. Я видел, что ему больно так, как не бывает больно живому. Он не убрал руки.

Я выбиваю это, чтобы камень помнил: Бран, сын Дургала, держал гору.

* * *

Затем из трещины вышел огненный голем. Затем голем ударил в свод. Затем свод упал.

Я гном. Я знаю, как падает свод. Я знаю, что остаётся под ним. Я видел, как камень весом в три моих чертога лёг на то место, где стоял Бран. Я приказал своим стражникам не копать — не было смысла. Я сказал себе: сын Дургала умер честно, у руны, которую держал. Я стал думать, что выбить на его плите.

А потом камень сдвинулся.

Я пишу это — и рука моя дрожит, впервые за все мои годы, и резец идёт криво. Пусть камень простит меня.

Камень, который не сдвинули бы четверо моих стражников, — сдвинулся. Изнутри. Медленно. Со скрежетом. И из-под него выполз Бран. Живой. Целый. Без единого ожога на руках, которые я сам видел чёрными. Без единой сломанной кости.

Он сел на камни, весь в пыли, и посмотрел на свои ладони. И я тоже посмотрел. В середине правой ладони у него тлел знак. Маленький, красно-золотой, как уголь. И от этого знака шло тепло, которое я почувствовал на расстоянии

в пять шагов.

Я не сказал ему, что видел, как он умер. Он не спросил. Мы гномы: мы не говорим о том, чего не понимаем, пока не поймём.

Но я выбиваю это здесь: Бран, сын Дургала, был мёртв. И встал.

* * *

Я отправил его к наземникам. Я сказал ему: узнай, что это за огонь, и вернись. Я велел ему взять осколок разлома и долото Даргаста, которое он, как оказалось, хранил у себя тридцать лет. Он выбил клятву Долга на моём столе, и я слышал его слово.

Но я не сказал ему всего. Пусть камень помнит, что я не сказал. Потому что я сам не уверен.

В Палате Памяти, на третьей плите, самой древней, той, что была выбита ещё до Каменного договора с эльфами, есть запись о Дургале Первом. О том, кто основал род, из которого вышел Бран. Плиту эту читают редко: письмо на ней старое, полустёртое, и половину знаков никто уже не понимает.

Я спустился в Палату этой ночью. Один. И читал её пальцами до рассвета.

Там выбито: *«И пала гора на Дургала, и лёг он под горою мёртвым. И на третий день вышел из-под горы, и в руке его был огонь, что не жжёт. И сказал он: я видел то, что под миром, и оно смотрело на меня. И оно ждёт».*

Дальше плита расколота. Я не знаю, что было дальше. Ни-

кто не знает.

* * *

Я запечатал Нижний Горн тремя печатями. Я поставил у ворот стражу. Навсегда.

Но этой ночью стражник с нижних ворот пришёл ко мне и сказал: тан, руна Печати на воротах — тёплая. Не горячая. Тёплая. Как камень, который лежал на солнце.

А солнца под горой не бывает.

Я выбиваю это, чтобы камень помнил: огонь под Чертогом не спит. Он ждёт. Как ждал при Дургале Первом.

И я думаю — да простит меня камень за то, что я думаю, — я думаю, что он ждёт не просто так. Он ждёт кого-то.

Бран, сын Дургала, возвращайся скорее.

Выбито рукою Бронгара. Да будет камень свидетелем.

Глава 6. Песнь Сильванора

Пуща Сильванора, юго-восток материка. За два месяца до Тихого Брода.

В пуще Сильванора не бывает тишины.

Это первое, чему учат маленьких эльфов, когда они ещё не умеют ходить, а только лежат в колыбелях из ивовых прутьев, подвешенных к нижним ветвям. Мать берёт ребёнка на руки, подносит к стволу и говорит: слушай. И ребёнок слушает. Сначала он слышит только шелест. Потом — птиц. Потом — как скрипит кора, когда дерево поворачивается к солнцу. Потом — как под корнями течёт вода. А потом, однажды, если ему повезло родиться с открытым ухом, он слышит то, что под всем этим. Песнь.

Лиэнна услышала её в четыре года. Позже, чем другие дети дома Тирэль. Мать уже начинала беспокоиться и тайком водила её к старому Хранителю рощи, чтобы тот послушал, нет ли в девочке какой-нибудь трещины. Хранитель послушал, хмыкнул и сказал матери, что трещины нет. Есть другое. Девочка слышит не то, что слышат остальные, а то, что звучит дальше. Поэтому ей и нужно больше времени.

— Дальше — это где? — спросила мать.

— Не знаю, — сказал Хранитель. — Посмотрим.

Он смотрел сто сорок три года. Лиэнна выросла у него в роще, у Лунного ручья, в доме, построенном не из досок, а из

живых ветвей, которые Хранитель когда-то уговорил срастись. Он учил её слушать. Учил отличать голос дуба от голоса ясеня, голос больной ели от голоса старой, голос оленя, который просто устал, от голоса оленя, который заболел. Учил петь в ответ: не громко, не красиво, а точно, на ту же ноту, на которую звучит то, с чем говоришь. Если поёшь мимо — лес тебя не слышит. Если поёшь точно — лес отвечает.

— А если петь громко? — спросила она однажды. Ей было девять, по эльфийскому счёту совсем ребёнок.

— Если петь громко, — сказал Хранитель, — тебя услышит всё. А это не всегда хорошо.

Его звали Эльдрин. Он был стар даже для эльфа: помнил, как в пуще поставили первые камни Каменного договора, а это было так давно, что сами камни успели обрасти мхом в две ладони толщиной. Он носил серый плащ, заплатанный на локтях, никогда не причёсывался и разговаривал с белками охотнее, чем с членами Совета. В Лаэльвине его не любили. Говорили, что Эльдрин когда-то пел небу, и небо ему ответило, и с тех пор у старика в голове ветер.

Лиэнна не знала, правда ли это. Она спросила его однажды. Эльдрин молчал, а потом сказал:

— Небу петь нельзя. Небо слишком большое. Оно отвечает всем сразу, и всем вокруг тоже. — Он посмотрел на неё. — Когда-нибудь ты споёшь небу. Тогда и узнаешь.

Она решила, что он шутит.

Рысь пришла к ней в тот год, когда ей исполнилось шесть-

десят.

Звери не приходят к Хранителям по зову. Это знает каждый эльф. Хранитель может петь зверю сколько угодно, зверь послушает и уйдёт. Зверь приходит сам, когда решит, что ты ему нужна. Или что он нужен тебе.

Рысь решила зимой. Она вышла к дому Эльдрина в метель, молодая, отощавшая, серебристо-серая, с кисточками на ушах и с капканом на задней лапе. Капкан был человеческий. Железный, с зубьями. Лиэнна сняла его, промыла рану соком подорожника, спела лапе, чтобы зажила, и легла спать. Утром рысь лежала у её постели.

— Как ты её назовёшь? — спросил Эльдрин.

— Никак, — сказала Лиэнна. — Она сама скажет.

Рысь ничего не сказала. Через год Лиэнна поняла, что так её и зовут: Никак. По-эльфийски это звучало как «Аллве», то есть «та, что без имени». Рыси нравилось.

В пуще Сильванора не бывает тишины. Поэтому Лиэнна сразу слышала, когда в Песни появилась фальшь.

Это было летом. Она шла вдоль Лунного ручья, проверяла бобровые плотины, которые весной размыло паводком, и вдруг остановилась. Что-то было не так. Она не сразу поняла что. Ручей звучал как всегда — звонко, на высокой ноте, как звучит вода, которая бежит с холмов и радуется, что бежит. Деревья вокруг звучали как всегда. Птицы.

А под всем этим, очень глубоко, что-то звучало мимо.

Как одна струна на лютне, которую забыли подтянуть.

Чуть-чуть ниже, чем надо. Чуть-чуть кисло. Если не слушать специально — не услышишь. А если услышишь — уже не сможешь не слышать.

Лиэнна опустилась на колени у воды. Положила ладони на камни. Закрыла глаза.

Фальшь шла снизу. С ручья. Не отсюда, из верховий, а с другой стороны, против течения нот. Будто кто-то вниз по ручью, далеко, пел свою песню, и она поднималась вверх по воде, как запах поднимается по ветру.

Аллве у её ног подняла голову и зашипела.

Через неделю в пуще начали умирать пауки.

Не все. Лесные пауки Сильванора — это не те маленькие, что плетут паутину в углах человеческих домов. Это звери величиной с собаку, тёмные, мохнатые, с восемью глазами, похожими на чёрные бусины. Они живут в кронах, ткут сети между ветвями, ловят птиц и белок, и эльфы их не трогают, потому что пауки не трогают эльфов. Таков старый уговор. Их яд — средство: если взять каплю и развести в ста каплях воды, он снимает боль. Эльфийские лекари держат его в склянках из горного хрусталя.

Пауки у Лунного ручья заболели. Сначала они перестали ткать. Потом начали спускаться с деревьев — медленно, неуклюже, путаясь в собственных нитях. Потом начали падать.

Первым погиб молодой олень у брода. Его нашли утром, раздутого, с чёрными пятнами на шее. Вторым — эльф. Его

звали Фаэн, он собирал мёд диких пчёл в верховьях и спустился к ручью попить. Паук упал на него с ветки. Фаэн умер к вечеру, хотя лекари из Лаэльвина влили в него весь запас противоядия, какой у них был. Яд был не тот. Не лесной. Лекарь, который его осматривал, сказал Совету, что такого яда в пуще никогда не было. Он был горячим. Лекарь коснулся губами капли на конце жала, как их учили, и отдёргнулся: капля обожгла ему губы, как кипяток.

Лиэнна убила своего первого больного паука на третий день. Он вылез из-под корней прямо перед ней, на тропе, и пошёл на неё боком, раскачиваясь, щёлкая жвалами. Глаза у него светились. Все восемь — тусклым, болезненным красным светом.

Она пела ему. Долго. Точно. На ту ноту, на которой поют больным зверям, чтобы они легли и уснули. Паук не слышал. Он слышал другую песню. Ту, кислую, снизу.

Аллве прыгнула раньше, чем Лиэнна успела поднять клинок. Потом тёрла морду о мох, потому что кровь у паука была горячая и пахла серой.

Лиэнна села на тропу и смотрела на мёртвого зверя. Ей было сто сорок семь лет. Она никогда никого не убивала.

— Он был болен, — сказал ей Эльдрин вечером. — Ты не убила его. Ты его отпустила.

— Я пела ему, а он не слышал.

— Значит, он уже слышал другое. — Старик помешал угли в очаге. — Так бывает. Когда в лесу появляется песня

громче нашей, звери начинают слушать её. Не потому, что она лучше. Потому, что громче.

— Откуда она?

Эльдрин не ответил. Он смотрел в огонь. Старику было страшно.

Совет собрался в Лаэльвине через десять дней, когда больных пауков стало слишком много, чтобы делать вид, что это пройдёт само.

Лаэльвин стоит на берегу моря, там, где пуца спускается к воде. Это не город в человеческом смысле — нет ни стен, ни улиц, ни площадей. Это деревья. Огромные, старые, такие высокие, что их кроны теряются в облаках, и между ними — мосты, лестницы, дома, вросшие в стволы, как гнёзда. Ночью на ветвях загораются светлячки, и Лаэльвин светится над морем, как созвездие, упавшее в лес. Капитаны, которые идут мимо вдоль берега, говорят, что видят его за двадцать миль. Отсюда, с самой верхней террасы, видно, как над морем собираются тучи. Лиэнна любила смотреть на них в детстве. Тучи над морем были всегда разные.

Совет сидел в Чертоге Корней. Это зал внутри самого старого дерева пуци — дуба, который был старым уже тогда, когда эльфы впервые пришли в этот лес. Внутри ствола выдолблена круглая палата, и в ней, на сиденьях из живых корней, сидят старейшины семи домов. А в центре, на корне, который поднимается из пола, как трон, сидит Владычица.

Владычица Аэлинор была самым древним существом, ко-

торое Лиэнна видела в жизни. Эльфы стареют медленно, но всё-таки стареют: кожа у них становится тоньше, волосы светлее, глаза прозрачнее. Аэлинор была почти прозрачной. Волосы — как паутина на рассвете. Кожа — как лепесток, сквозь который видно солнце. Глаза — светло-зелёные, такие светлые, что казались пустыми. Она говорила тихо, и в Чертоге Корней её слышали все, потому что её голос пел даже тогда, когда она просто говорила.

Лиэнну пустили на Совет только потому, что она убила больше всех больных пауков. Она стояла у стены, рядом с Эльдрином, и слушала.

Старейшины спорили. Дом Каэр говорил, что пауков надо истребить, всех, у ручья и выше, пока зараза не пошла дальше. Дом Ильвен говорил, что истреблять нельзя, что это нарушит уговор с пауками, которому две тысячи лет. Дом Тирэль, дом Лиэнны, молчал, потому что глава дома, её двоюродная бабка, считала, что молчание мудрее слов. Лекарь рассказал про горячий яд. Кто-то вспомнил, что так же пах воздух, когда век назад в пущу заходили торговцы-люди с южных болот, — тогда тоже болели деревья. Кто-то сказал, что люди вообще отравляют всё, к чему прикасаются, и надо закрыть восточный тракт.

Владычица слушала. Не перебивала.

Когда все устали, она повернула голову к стене.

— Эльдрин, — сказала она.

Старик выпрямился.

— Ты слышишь, откуда песня?

— Слышу, Владычица.

— Откуда?

— С моря. — Эльдрин помолчал. — С края пущи. Там, где лес спускается к воде у Оврагов. Там кто-то поёт. Не наш. Не лесной. Песня горячая, Владычица. Как огонь в горне. Я такую уже слышал однажды.

В Чертоге Корней стало тихо. Старейшины переглянулись.

— Когда? — спросила Владычица, хотя Лиэнна была уверена, что она знает.

— Шестьдесят лет назад, — сказал Эльдрин. — Великий пал.

Про Великий пал Лиэнна знала меньше, чем должна была. Ей было тогда восемьдесят семь — по эльфийскому счёту почти девочка, — и в ту осень Эльдрин отослал её на дальние поляны, а вернувшись, ни разу не заговорил о том, что было. Шестьдесят лет назад в степях на западе случился пожар. Степь горела всё лето, от края до края, от гор до Пограничья. Огонь шёл широкой стеной, и дым от него долетал до Сильванора, и солнце над пущей было красным две недели. Говорили, что пожар начался не от молнии и не от костра. Говорили, что огонь вышел из-под земли.

Больше она не знала ничего. Об этом не любили говорить.

— Великий пал, — повторила Владычица. — И что ты хочешь сказать Совету, Эльдрин? Повтори. Ты говорил это

тогда. Пусть услышат те, кто тогда был молод.

Эльдрин посмотрел на неё. На старейшин. На Лиэнну.

— Тогда к нам пришли орки, — сказал он. — Послы от степных кланов. Трое. Они дошли до опушки, сели на землю у первого дерева и ждали девять дней, пока Совет решал, впустить ли их. Им нужен был дождь. Только дождь. Степь горела, огонь шёл на их стойбища, на их детей, на их скот. Они знали, что эльфы умеют петь небу. Они просили одну песню. Одного певца. — Старик помолчал. — Совет отказал.

— Почему? — тихо спросила Лиэнна. Она не хотела спрашивать. Само вырвалось.

Владычица повернула к ней голову.

— Обет Корней, дитя, — сказала она. — Ты знаешь его.

Лиэнна знала. Обету Корней была тысяча лет. Его дали эльфы Сильванора после Раскола, когда часть народа ушла на север, в Безмолвную пушу, и там, в тишине чёрных деревьев, слышала то, что слышала, и перестала быть эльфами. Те, кто остался, поклялись, что больше никогда не оставят лес. Что Песнь звучит только под кронами. Что ни один Хранитель не понесёт её за опушку, потому что там, за опушкой, песню может услышать не тот, кому она предназначена. Так они потеряли половину народа. Больше не хотели.

— Орки ушли, — сказал Эльдрин. — Через девять дней. Без дождя. Я провожал их до опушки. Один из них, самый молодой, обернулся и сказал мне на ломаном всеобщем: «Вы уходите в свой лес и смотрите, как горит степь». Я не нашёл,

что ответить. — Он поднял глаза на Владычицу. — Я тогда просил Совет отпустить меня. Одного. Я сказал: я старый, меня не жалко, я спою им дождь и вернусь. Совет отказал и мне.

— Совет помнит, — сказала Владычица.

— А я помню, как горела степь, — сказал Эльдрин.

Тишина.

Потом Аэлинор встала. Это было так неожиданно, что старейшины вскочили следом. Владычица никогда не вставала на Совете. Она сидела на своём корне, как сидела, наверное, тысячу лет.

— Песня, которую ты слышишь у моря, Эльдрин, — сказала она, — та же самая?

— Та же.

— Тогда она пришла к нам, — сказала Владычица. — Шестьдесят лет назад мы не пошли к ней. Теперь она пришла сама. — Она посмотрела на Лиэнну. На клинок у её пояса. На рысь, которая лежала в дверях Чертога, потому что внутрь звери не допускались. — Совет отправит к Оврагам Хранителя. Одного. Посмотреть и вернуться. Если Хранитель увидит то, что увидел Эльдрин в степи, — Совет решит, что делать дальше.

— Я пойду, — сказал Эльдрин.

— Ты стар, — сказала Владычица.

— Тем лучше. Меня не жалко.

— Ты стар, — повторила Владычица мягко, — и ты шесть-

десять лет ждёшь этого дня, чтобы доказать Совету, что он был неправ. Ты пойдёшь не смотреть. Ты пойдёшь воевать. — Она повернулась к стене. — Лиэнна из дома Тирэль. Ты пройдёшь Испытание Роши у Оврагов. Если вернёшься — станешь Хранителем.

Лиэнна поняла, что все в Чертоге смотрят на неё. И что ей нужно что-то сказать.

— Да, Владычица, — сказала она.

Эльдριν посмотрел на неё, открыл было рот — и отвернулся.

До Оврагов было три дня пути.

Пуща становилась другой по мере того, как Лиэнна спускалась к морю. Деревья мельчали, кроны редели, сквозь них начинало просвечивать небо. Под ногами вместо мха — песок, сначала тонким слоем, потом всё толще. Сосны вместо дубов. Можжевельник. Ветер пах солью. Лиэнна любила этот край пущи. Здесь Песнь звучала по-особенному: в ней было море, огромное, медленное, и лес отвечал ему, как младший брат отвечает старшему.

Только теперь, к концу второго дня, море звучало не так.

Под его медленным дыханием, под шумом волн, под криками чаек — та самая кислая нота. Громче. Ближе. Уже не только снизу. Отовсюду. Лиэнна шла и чувствовала её зубами, как чувствуют скрип ножа по стеклу.

Ручьи здесь текли к морю по оврагам. Глубоким, крутым, заросшим папоротником, с песчаными стенками, из которых

торчали корни сосен. Ручей, вдоль которого она шла, был притоком Лунного. Вода в нём была мутной. С желтоватой плёнкой у берегов. Рыбы не было.

В тот же вечер она встретила браконьеров.

Их было двое. Человек и мальчик — отец и сын, судя по лицам. Они сидели у маленького бездымного костерка на дне оврага и потрошили зайца. Рядом лежали силки, свёрнутые аккуратно, по-хозяйски, и лук — короткий, охотничий. Люди с побережья. Пуща запрещала им охоту в своих границах. Тех, кого ловили, приводили на опушку и отпускали — но без силков, без лука и без добычи. А тех, кого ловили второй раз, не отпускали.

Они увидели её поздно. Человек вскочил, схватил лук. Мальчик спрятался за отца. Аллве вышла из папоротника, и человек побелел.

— Не надо, — сказал он. Голос у него был хриплым. — Госпожа, не надо. Мы уйдём. Сейчас уйдём.

Лиэнна смотрела на них. На зайца. На мальчика.

Мальчику было лет восемь. Худой, тонкий, как прутик, с огромными глазами на сером лице. Рубаха на нём болталась. Лиэнна узнала эту худобу. Так выглядят оленята в конце долгой зимы.

— Вы в пуще, — сказала она. — Здесь нельзя охотиться.

— Знаю, госпожа.

— Тогда почему вы здесь?

Человек опустил лук. Не потому, что сдался. Потому, что

у него дрожали руки, и он, наверное, понимал, что всё равно промахнётся.

— На побережье нечего есть, — сказал он. — Рыбы нет. Пятую неделю. Море кислое. Говорят, на дне что-то сдохло, большое, и гниёт. Сети приходят пустые. А если что и поймашь, то вонючее, есть нельзя. — Он сглотнул. — У меня ещё двое дома. Младше этого. Жена. Мы бы не пошли в лес. Мы знаем закон. Но...

Он не договорил.

Закон пущи был ясен. Силки и лук — отобрать. Добычу — отобрать. Самих — вывести на опушку. Лиэнна знала его с детства.

Она подошла к костру. Человек отступил, закрывая собой сына. Лиэнна наклонилась, подняла силки, повертела в руках. Хорошая работа. Тонкий конский волос, ровные петли.

— Где кислое море? — спросила она.

Человек моргнул.

— Что?

— Где море стало кислым? Откуда это идёт? Ты рыбак. Ты знаешь, где вода хуже.

Человек долго смотрел на неё. Потом повернулся и показал вниз по оврагу. На восток. Туда, где сквозь сосны блестя вода.

— Там, — сказал он. — Овраг выходит к морю у Чёрного Камня. Там хуже всего. Там даже чайки не садятся. И люди там ходят. Не наши. В серых плащах. С месяц назад пришли.

Стоят лагерем на берегу и что-то копают. Мы туда не ходим. Они нехорошие.

Лиэнна кивнула.

Потом положила силки обратно у костра. Достала из своей сумки свёрток с дорожным хлебом — эльфийским, плотным, на орехах и меду, который не черствеет месяц, — и положила рядом с силками.

— Зайца доешьте, — сказала она. — А потом уходите из пущи и больше не приходите. — Она посмотрела на мальчика. — Если придёте ещё раз, вас поймает не я.

Она ушла, не оглядываясь. Знала, что нарушила закон. Знала, что Совет бы не одобрил. Думала о том, что Эльдрин бы одобрил. И о том, что старик шестьдесят лет назад провозжал до опушки орков, которые просили дождя, и ничего не смог для них сделать.

Аллве шла рядом и, кажется, тоже одобряла.

Лагерь людей в серых плащах она увидела на следующий день, с вершины дюны, лёжа в сухой траве.

Он стоял там, где овраг выходил к морю: на узком песчаном пляже, под обрывом, у огромного чёрного валуна, наполовину вросшего в песок. Пять шатров. Коновязь. Костры. Люди ходили между шатрами с вёдрами, с лопатами, с какими-то ящиками. Человек двадцать. Под обрывом, у самого основания Чёрного Камня, они вырыли яму. Широкую, глубокую, обложенную по краям досками. Из ямы шёл пар.

И оттуда, из этой ямы, пела та самая песня.

Лиэнна лежала в траве и слушала, и ей казалось, что у неё во рту кровь. Песня была громкой. Она заглушала море. Заглушала лес. Заглушала стук собственного сердца. Она звучала на ноте, на которой не звучит ничего живого: ниже, чем шум прибоя, глубже, чем гул камня, и в ней было что-то, от чего хотелось зажать уши и бежать. И одновременно хотелось слушать дальше.

Она поняла, почему пауки не слышали её колыбельной. Против такой песни её колыбельная была писком комара.

Люди у ямы что-то делали. Лиэнна присмотрелась. Они спускали в яму вёдра на верёвках, поднимали, выливали что-то в бочки. Бочки потом откатывали к морю. И выливали в воду.

Яд. Они собирали яд и лили его в море. И в ручьи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.